

18+

НАДУВНЫЕ УШИ



Михаил Марусин

Михаил Марусин

НАДУВНЫЕ УШИ

2017
Москва

Она была голодной до мужчин

Она была голодной до мужчин.
Бывало, настреляет как оленей,
и ну мутить котлеты, и борщи,
и прочие пельмени,
зависимо от градуса любви.
А ты пошёл на чучело –
живи.

Смотри

Смотри, как через армию телег,
походкой отставного макарона,
шагает баритоночеловек,
вещающая из «Цыганского Барона».
Вот это жизнь.
Вот это антраша.

Поддёрнув шаровары с непривычки,
я прыгаю с восьмого этажа,
но снова забываю дома спички,

и возвращаюсь.

В городе Д

В городе Д,
среди мужиков конкретных,

чувствуешь грохот и жар
кузницы кадров.
Гагарин улёгся на несколько километров,
здесь каждый ларёк –
помеченный спьяну параграф
когда-то романа,
а ныне скупого отчёта.
Всё так же воруются люки,
всё так же печёт, а
прохожие курят «Прилуки»
и ходят в обносках
того – «Днепро... жидо... пердо...»,
с окончанием: «...овска»;
и тонут дрожащие башни
в зеркальной воде,
легендой о том,
о вчерашнем,
городе Д.

А я

Наёмник цедит анашу
и что-то мямлит калашу.
А я люблю её – пишу.

Ханжа исследует ноздрю
и припадает к алтарю.
А я люблю её – курю.

Писака шлёпает главу
и мажет мёдом пахлаву.

А я люблю её – живу.

И вновь зачатия пасёт
Луна с улыбкою Басё.
А я люблю её – и всё.

Телега

Скрипят оглобли басовито,
Лошадки пукают под нос,
Несутся в панике копыта
От догоняющих колес.
Мою телегу экипажи
Вот-вот затопчут – поделом.
Вот так – от прошлого себя же
Бегу по миру напролом.

От драм уже полощет

От драм уже полощет
До слезных водопадностей.
Попробуй как-то проще,
Попробуй как-то радостней,
Без логики девичьей,
С вопилками о возрасте,
Без ярмарки приличий,
С наценками стервозности.
Мне скучен этот рынок,
Мала страна Онания.
Попробуй без ужимок

Неведенья/незнания,
Попробуй без напутствий,
Не будь со мной святошею.
Из всех моих предчувствий –
Ты самое хорошее.

Рюкзак

Положи мне в рюкзак
Джинсы «Левис» и пачку «Опала»,
Медиатор из баночной крышки
(ты же помнишь – зеленый),
Бесполезный пиджак,
Позабытый со школьного бала,
И червонец, припрятанный в книжке,
До костей телефонной.
Не забудь про гараж,
Деревянно сгоревший за школой,
Вместе с ЗИЛом-130 и бражкой
Физрука – дяди Миши.
Втисни мокрый пейзаж,
Где, счастливый и ливнево-голый,
Я ругаюсь с соседкой-монашкой
И машу тебе с крыши.
Положи мне мороз.
Не войдет – распахай по карманам,
Чтоб унес я заплинтусный Цельсий
Поволжских Крещений,
Где по дури, взасос
Прилипал я к салазкам и кранам,
И вкушал от бабулиных пенсий

Аспириновых премий.
Положи мне века,
Что сменяли друг друга за сутки.
Повяжи треугольное знамя,
Из прожженной вискозы.
Я подамся в бега,
Я уеду на первой маршрутке,
Чтоб рассыпаться в мир семенами
Обескровленной прозы.

Отпусти

Когда мама сдалась и купила гитару
За восемь ноль-ноль,
Когда папа ушел к проводнице Тамаре
Однажды зимой,
Я с корейской улыбкой внимал Кочегару,
И мамина боль
Порастала быльем на ее же гектаре,
Не трогая мой.

И когда скорострельно прошел с первой да-
мой
Постельный рубеж,
И когда скорорвотно испил у подъезда
Граненый дебют,
Я заполнил Корейцем – ни папой, ни мамой –
Голодную брешь.
Так позволь мне побыть этим форте и престо
Хоть пару минут.

Разреши удавиться за право на патлы,
И, в месиве драк,
Повыплевывать зубы, порезать запястья
В прыщавом нитье.
Я уйду и вернусь – золотой и бесплатный,
Примерный дурак, –
Отпусти хоть на миг от святого причастья
К твоей правоте.

Пятка России

Мама-родина! Вечно небрита,
Ты гоняешь дворовых собак.
Здесь бывал Кукурузельт Никита,
Здесь неделю блудил Пастернак.

Мама-родина, пятка России,
Красной буквой в моем букваре.
Здесь пригrelись на яблонях змии,
Здесь припелись русалки в Хопре.

Я проснусь в Балашовском уезде,
В заповедной, цикадной глуши,
И сожру в иступленном присесте
Эти звёзды, мосты, камыши.

Но опять, не скрывая досаду,
Колыхая берёз бигуди,
Мама-родина шлёпнет по заду,
И отнимет меня от груди.

Левой ногой

Ощетинен как хряк,
Трижды три холостяк,
Весь в бумаге и ручке,
Доживу до получки,
Доурчу животом
О пельменях (святом),
И порадою близких,
Весь в стаканах и мисках.
А расщедлив долги,
Встану с левой ноги,
И до ватерклозета,
Весь в иканьях (примета).
На тугих парусах,
Весь в семейных трусах,
С беломориной в пасти
Доплыву к тебе.
Здрасьте.

Еле

Еле движутся сани
По асфальту сомнений,
Чередой опозданий,
Чехардой объяснений,
И, потешно-приматный,
И, трусливо-нескорый,
Я шепчу тебя мантрой,
Я бубню тебя Торой.
Так, наверное, проще,

Так, наверное, чище -
Жить мечтами, наощупь,
Не пыля сапожищи,
Не вставая с перины,
Не коряча плейбоя,
И глотать аспирины,
И блевать с перепоя.

Вот так и

Сковал глаза в июньский полдень
Узорный, вычурный мороз,
И давишь пофигом на морде
Родной, безденежный психоз.
Дрожащей тварью – прыг в одежды,
В горячий чай на пять глотков,
И в телек – в Римы, в Будапешты,
И прочий рай отпускников.
Тьма низких истин не дороже,
Но чалишь, загнан в трафарет:
То жрешь, то спишь, то делишь ложе,
И размножаешься, нет-нет.
Вот так и жить – зубами клацать,
Вот так и спать – на чем? на ком?

Сегодня дочке восемнадцать.
Я позвоню ей вечером.

Вот это женщины

Ого –
Вот это женщины,
С размерами и формами,
И фразы как затрещины
Дождями помидорными,
И лона загребущие,
И груди настоящие,
А я - бамбук сосущее,
А я - урюк косящее,
Ни бе, ни ме, ни прочее –
Стекаю удобрением,
Слагаю полномочия,
И в бар за вдохновением,
Чтоб там, среди потасканной,
Копченой человечины,
Хрипеть дурными связками:
Ого –
Вот это женщины!

Вой-не вой

Я желаю Луну –
Бутербродом и сзади,
На полу и в кустах,
Плюс глубокий минет.
Я глотаю слюну,
Прислоняясь к ограде,
И копаюсь в стыдах –

Только нужного нет.
До свершений охоч,
Порываешься в князи,
Изнывая в борьбе,
За помпезный балласт.
Проще выссаться в ночь
И пойти восвояси.
Вой-не вой, а тебе
Даже спьяну не даст.

Пробуждение

Мир не прятал веский довод –
Цокнул,
Вынул,
Показал.
Как всё это далеко от
Богородческих сусал.
И когда в начало дня я
Канул, с башней набекрень,
Мир смеялся, заправляя
Эту правду под ремень.

Я убил

Я убил в себе узбека,
а воскрес карел.
Я убил в себе карела,
а воскрес якут.
Я убил в себе якута,

а воскрес мегрел.
Мама, кто я в самом деле,
как меня зовут?
Мама, что я в самом деле,
с чем меня сожрёт
эта мысль –
всего, до грамма,
там, на рубеже,
где дойду на трёх опорных,
лягу у ворот,
и стрелять мне будет, мама,
не в кого уже.

Верить

Она пропела:
-Ровно в пять – идет?
-Идет.
Стоял в грозу как идиот,
Но вот
Моя амурная стрела
На полшестого уползла.

Троллейбус, мыслям в унисон:
-Га-га! –
Смеялся, выставив в озон
Рога,
И что-то мокрое внутри
Делило жизнь мою на три.

Я пнул троллейбус – и бегом

Во мрак.
За мной водитель с молотком –
Дурак,
И смех вытаптывал мой страх
В умытых, лужистых дворах.

А завтра вечером – опять
Ее, придуманную, ждать –
И в пять, и в шесть, и в девять,
И верить,
Верить,
Верить.

Отчего опять

Раз глазница,
Два глазница.
Ум за разум, выручай –
Я боюсь на ней жениться
Этой ночью, невзначай.
Улыбается, шалава,
В белый кухонный квадрат –
С ней ни прямо, ни направо,
С ней ни трезвым, ни в умат,
В ней ни милости, ни страсти,
Ни омлета с колбасой.
Отчего опять, как здасьте,
Эта белая с косой.

Маркиз

Ваш кот порвёт меня на флаги,
А я лишён такой отваги,
Чтоб каждый раз, идя в кровать,
Свои причины прикрывать.

Влетев на нервы и на бабки,
Я каждый день меняю тапки,
А он не знает санузла,
И жрёт мой завтрак со стола.

Какая всё-таки досада,
Что на Маркиза нет де Сада,
Что каждый раз кишка тонка
Созреть хотя бы для пинка,

Что котофобия так быстро
Во мне сломила пацифиста,
Что я согласен на семью
В котом помеченном раю.

Духота

Высоко. Под босыми ногами
Тридцать метров балконов и плит.
Духота, без антракта в программе,
Даже в полночь свалить норовит.

И лоснишься куском чебурека,

И глядишь, рассыпая табак,
С удивленьем австралопитека
На ущербный астралопятак.

Обжигаются пальцы о трубку,
И горчит эбонит мундштука.
Пёс дворовый открыл мясорубку
И рыдает в четыре клыка,

И, под правду собачьего воя,
Отпускаешь себя насовсем
В духоту безответного: «кто я?»,
В пустоту непонятного: «с кем?»

Голова моя-два уха

Голова моя-два уха,
Перемётная сума.
Отшепчи меня, старуха,
Отметель меня, зима.
Две чумы, одна холера,
Пять углов, да без икон.
Исцели, чужая вера,
Отлучи, родной Гапон.
Ни конца тебе, ни края,
Дуболобная стена.
Отрыдай меня, родная,
Отрыгни меня, страна,
Умести мечты в ладошку,
Чтоб, ломая сухостой,
Протоптать себе дорожку

В ёлки-палки-лес густой.
А в лесу-то все едино:
Крыша-ложе-закрома –
Ублажай себя малинно,
Размножайся на тома,
Да свети себе гнилушкой,
Да размазывай соплю
Устаканенной частушкой,
С умочаленным «люблю».

Афродита с цикутой

Трижды D,
До ногтей трёхмерная,
Заполняешь пространства и дали.
Я не знаю тебя, наверное,
Или знаю,
Но вот тебя ли?
Непроста –
То бугор, то ямочка.
Два по сто –
Так с тобой и можешь,
Трижды три неземная дамочка,
Среди лун изумленных рожищ.
Что за чудо в тебе намешано,
Что за юдо в тебе хохочет,
Афродита с цикутой,
Женщина,
Без которой ни дня, ни ночи.

Клоуны

То не лижет мороз голого,
 То не сопки во льды катятся –
 Это плавится мозг оловом,
 Это ищет беды задница,
 И навскидку альбом –
 «Cranberries»,
 И вприхлебку вино фляжное.
 -Здравствуй, Бим!
 -Здравствуй, Бом! –
 Встретились,
 И слепились в одно страшное.
 Что ни день – на манеж.
 Рублики
 Так и падают вниз, под ноги.
 Их хватает на плешь в бублике,
 Но хватает на жизнь все-таки.
 Возлюбив как себя ближнего,
 Мы воздели мольбы к лампочке,
 И слились в одного рыжего,
 И смешим дуракам тапочки.

Драмы

Как мелко, противно и грубо
 Морщинить надменные лики,
 Когда выкликаются зубы,
 Когда вызверяются крики.
 И как успокоить рыдания,

И как умалиться до зайца?
Я просто ищу оправданье
Тому, что ношу эти яйца.
И, что-то о вечном втирая,
Себе же комфортно поверив,
Я выйду из млечного рая
Забавно летающих перьев
В подъезд, где озябшие музы
Кромсают с улыбкой Обамы
Гнилые семейные узы,
Простые семейные драмы.

Когда-то

Когда-то было все иначе –
по долгу ли,
по дури ли,
литературные команчи
символили,
футурили.
Закокаинив гонореи,
запоколив Тютчева,
кромсали ямбы да хореи
Великого,
Могучего.
Вы украшали бы пирушки –
без пары...
нет, с мужчиною,
и под каре чесали б ушки
янтарным мундштучиною,
а я моргал бы

глазом третьим
непуганой прелестнице,
и развивал бы Вас в сюжете,
и раздевал на лестнице.
Я надарил бы Вам гвоздики
с могил минорных классиков,
я удавился бы на пике,
в разгар рабочих праздников,
расшелестелся бы
без сдачи
на тонны многотомников.

Когда-то было все иначе,
а нынче
как-то
скромненько.

Почему

Мне не стоит труда
Разорвать, разорать эту тишь,
Разлохматить века-облака
На дремучей вершине.
Почему же тогда
Откликаюсь на "зай" и "малыш",
Не пытаюсь освоить бега
И ночёвки в машине?
Я, наверное, крут
После варки в твоём молоке,
После тёрок, замесов, спиртов
Двухнедельных брожений.

Как собачий продукт,
Как набитыш на глупой башке –
Умножаю баулы понтов
На нули достижений.
Мне не стоит труда
Напроситься к чертям на обед,
Растуманиться в Черной дыре,
В сернокислом дыму.
Почему же тогда
Подметаю халатом паркет
И цвету, выплесняя амбре?
Почему?

«Аметист»

Мурманск выстужен,
Чист побелено.
Галогенит глаза до рези
Магазин «Аметист» на Ленина –
Храм Маммоны, чертоги спеси,
И, ногами охраны, футболится
Первозданность в морфейной жижке –
Прикорнувший в дверях пропойца,
Вечно рыжий в любом Париже.
Он побит и прославлен –
«Нокии»
Резво щелкают
В праздничном такте.
Не теряют момент двуногие
Прихожане молельни
«vkontakte»

Мурманск празднует жизнь размашисто,
Люди верят и ждут
(не звери ж),
Зажирая свое монашество
Тёплой водкой
С приправой зрелищ.

Козёл

Сколько мнений – столько зол,
Что ни день – войнушка.
Ты права, а я козёл –
Выпьем (где же кружка?).
Хватит ныть свои слова,
Дуть себя губасто.
Я козёл, а ты права.
Ставлю точку.
Баста.

Везу

Я везу тебе
Измождённую кривь километров,
Сколиозы вопросов,
Передозы банальных ответов,
Неприрученность меньшего брата.
Оно тебе надо?
Я везу тебе
Устаканенный быт одиночки,
Килограммы привычек,

Три рубля на подставленной бочке,
Три словища –
сермяжных, биндюжных:
Оно тебе нужно?
Я везу тебе –
Эй, оглянись:
Позади - тридцать восемь вагонов
И тележка –
Глаголы, рода, падежи.
Оно тебе надо, скажи?

Рэд-энд-блү

Раз советчик, два советчик,
Три сове... да ну их в жэ.
Мой любимый человечек,
Нас затрахали уже.
Покажи им фигу. Ну же,
Не скупись на падежи.
Мы плывем по этой луже,
Только жить когда, скажи?
Красно-синяя с мороза,
Ты ворвёшься в этот дом,
И пошла она, стервоза,
Совесть, штопаный кондом.
Ты подашься к пиву-водке –
Тёплой, свежей, рэд-энд-блү,
И поскидываешь шмотки,
И отдашься на полу.

В дыму

У меня к ноябрю
сто вопросов, и все на потом.
Он крадется от гор,
чтобы утром воздать нам по снегу.
Мы смотрели в зарю,
а она вытравляла стеклом
наши чайные чаянья,
наше щеняче-с-разбегу.
И вселенская блажь
разрывала сердце клапана
в этом сонном краю,
где чужая беда – не наука,
где пегасам фураж
выделяет скупая страна,
и гоняет в строю
по сусекам Полярного круга.
Мы смотрели в окно
и давились комочным «зачем?».
Мы месили простор,
разгребая кисель горизонта,
эти тысячи «но»
в благочестьях запутанных схем,
где повешен топор
над курганом окурков от «Бонда»,
где плывут облака,
не взрываясь от наших торпед,
где любви скрипят
на своих деревянных постелях,
потому что никак

не убить этот дикий рассвет,
потому что опять
ноябри утопают в апрелях.

Мудачество

Пойти, отдаться мудакам очеловеченным,
Иль человекам омудаченным –
Вперёд.
Меня растащит на куски сегодня вечером
Детьми и солнцем заишаченный народ.
Там папуасы делят фото с обезьянками,
Там караочит хоровое «ме» и «бе».
Пойти, возлечь пассионарием под танками,
И раствориться марганцовкою в толпе,
Чтоб бледно-розово осесть,
Покрыться плесенью,
Забыть на день,
Забыть на час
(на миг бы рад),
Что есть работа, дом, семья –
Всё то же месиво,
Всё то же варево нарядов и тирад,
Всё те же позы во прикрытие батрачества,
Всё та же пьеса, пережившая века.
Пойти, отдаться, разменяв бывшее качество
На три количества себя же – мудака.

Ностояние

На верёвке размеры сушатся.
Ноги ватные.
Осень ранняя.
Растекается с миром лужица
Агрегатного
Ностояния.
У хозяйки-армянки комнаты
С привиденьями,
С раскладушками.
Скрипо-шелесто-стуко-шёпотно
Бродят Ленноны,
Будят Пушкины.
Пять каналов за уши борются,
Чтоб усталость нам
Интересило.
От певца родила поклонница –
Вот и радостно,
Вот и весело,
И живётся уже – не тужится,
Лишь бы тикало,
Обречённое,
И течет, растекаясь, лужица
В море тихое,
В море Чёрное.

Слушай, Космос

В позе «лотос»,
На лунную телку набычен,

Прогреваю мозоли.
Слушай, Космос.
С тобой как-то весело нынче,
Ненавязчиво, что ли.
Знаешь, Космос –
Я нынче свои килотонны
Перевел в килобайты.
Что ни опус –
Затмят педофило-притоны,
Загалдят Pussy Riot-ы,
Сиськи,
Жопы,
Оружие,
Нефть,
Олигархи –
Всё, чем дышит двуногий...

...Вечер.
Копоть.
Томат на прожженной рубахе.
Под программу "Итоги",
Дух ли, бог ли –
Который уж век ты,
По-свойски,
После дённого ада,
Трёшь мне сопли,
И сыплешь из звездной авоськи
Неизменным:

– Так надо.

Такси

Что там? Авария?
Кто-то вписался неписано.
Живы?
Да вроде.
Машина, конечно, не в счёт.
Пробка.
Мигалки.
Трясёт пассажирку до визга, но
Как тут быстрее?
Вот и ждем свой далёкий черёд.

Радио дышит в салон Океанами-Эльзами,
Мозг отключился от драм недалёкой мадам.
Еле, но всё же идём по заторному лезвию,
Влево ли, вправо – угрозой чужим зеркалам.

Тянут обломки к кювету таджики-рабочие,
Что-то крича на размытом веками фарси.
Ветер листает газету на пегой обочине,
Ветру дождливо плевать на водилу такси.

Постройте

Чудны плантации дырявого асфальта,
Сплошной малинник в завершение трудодня,
И эшафотным, передавленным контрольно
Опять срываешься: «купи себе коня!»,
И нервы плавятся, и в матерном потоке

Дано не каждому оглобли развернуть.

Постройте женщинам отдельные дороги,
И умоляю, оградите чем-нибудь.

День России

Перекатен сирой голью,
Бабой заарканен,
Еле вырвется на волю
Бедный россиянин –
В порыжевшем Одедасе,
В пиджаке и тапках,
Пожинать плоды фантазий
На питейных грядках.
И опять, в чужой помаде,
Жалок и раздавлен:
- Здравствуй, Галя...
Тьфу ты... Надя...
Шевелева??..
(дааа, блин).
А с утра напомним тазик
Под софой двуспальной:
Есть он,
Есть на свете праздник
пра...
фис...
си...
аналь...
ный.

И останусь

Что ни день, то приручение,
Обречённое на подвиг,
С переменной декораций и ролей.
А имеет ли значение
Пыль кроссовочных экзотик,
Если тапочки всё мягче и белей?
И, крещёный табуретом,
И, разнузданней брутала,
И, разлапистой маньяка,
Ровно в семь,
Я приду к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
И останусь до заката.
Насовсем.

Раздвигай

Не ко сну душа балбесится,
Не к добру стакан бидонится.
Искушай меня, прелестница,
Искушай меня, разбойница.
Не к делам седьмая пятница,
Не к деньгам поётся-тешится.
Опускай мосты, развратница,
Раздвигай пошире, грешница.
Не к столу плюю на бредни я,
Не к стыду ты вторишь (надо же).
Будет боль – отдай последнее,

Будет грех – вали мне на душу,
 Чтоб не зреть врата бараново,
 А войти в твое соцветие,
 В честь законно-долго-жданного
 Совершенно-верно-летия.

На твоём тра-ля-ля

Наломаю комедь
 На четыре рубля
 Для покупки пилюли от стресса,
 И попробую спеть
 На твоём тра-ля-ля,
 Если ты в до-ре-ми ни бельмеса,
 И попробую стать
 Чуть смиренней к утру,
 Чуть удобней,
 Пушистей,
 Карманней,
 Чтоб угрызть и урвать,
 Чтоб прийти к двору
 В усыпление
 Твоих
 Ожиданий.

Штормовое предупреждение

Страна оберегов и крашенок,
 Пастбище дум наобум,
 Кольцо приснопамятных башенок,

С видом на проданный ГУМ.
 Безмолвна (молчание-золото) –
 Стерпится-слюбится-стерп...
 Куда ты поперся без молота,
 Сырый, затюканный серп?
 Куда ты, с губищей раскатанной,
 Катишь под гору трамвай,
 Страна обещаний и сватаний,
 Знойный, анадырный рай?
 В ответ - непонятное издали.

Ночь.
 Штормовое.
 Буран.
 Сижу, дураком в телевизоре,
 Пялясь в потухший экран.

Агу

Вам приходилось спотыкаться
 О горизонт в начале дня,
 Когда ни шпаги, ни коня,
 И вам не двадцать,
 Но ощущение начала,
 Как будто заново: «агу»,
 Когда непуганным «могу»,
 По жизни мчало,
 А тут - бабах...
 ?
 А вам хотелось
 Хоть раз, но выдернуть чеку,

Сорвать и бросить на бегу
Умища нанизь?
Меня колбасит ваша зрелость –
Что по годам,
Что по плодам.
Какого чёрта вы, мадам,
С таким связались?

Покатай меня, большая черепаха

Покатай меня, большая черепаха,
По орбитам,
По парсекам,
По нулям,
Где ни воздуха,
Ни памяти,
Ни страха,
Ни костюмности,
Ни читок по ролям,
Лишь холодная, вселенская огромность,
Без претензий,
Без какого-то рожна,
Где достойное признание –
Невесомость,
И нежданная награда –
Тишина.

Тебя хочу

Тебя хочу,

В тебя,
К тебе,
С тобой,
А ты кота всё тянешь за отличья,
И что-то напеваешь о приличьях,
А он орёт,
И я, как на убой,
Плетусь, молясь кому-то неумело,
Затем за руль,
А к вечеру в отруб,
А с трупа спросу нет –
На то и труп.
Да я-то что –
Кота бы пожалела.

Гололедит

Гололедит которые сутки,
Чуть поддал – и резина вразлёт.
На панелях дрожат проститутки –
И задаром никто не берёт.

Вот и ты всё косишься направо,
Где, нет-нет, да взмётнется рука.
Сам себе сутенёр и шалава,
Подставляешь клиентам бока.

Гололедит которую вечность,
Заметелила темень глаза.
Промелькнёт пешеходная нечисть,
Зашуршат по лыжне тормоза,

И вдогонку испуганным плясам
Полетит необузданный срач,
Только шлюха хихикнет вполбаса,
Только сзади бибикнет лихач,

И опять, на поллитре бензина,
Прёшь угрюмо, как нищий в кабак.
Гололедит которую зиму,
А привыкнуть не можешь никак.

Венерин грот

Венерин грот не терпит пустоты,
Незыблимо сие, неоспоримо,
А посему не проходите мимо,
Узрев его прекрасные черты.

Устав месить житейское говно,
Мы припадаем к розовым пенатам,
И плачем, что мужчинам не грешно,
Орудя виагровым домкратом.

Не зарастет народная тропа
К кудрявому началу мирозданья.
Мы все оттуда. Наши черепа
Хранят трубы волшебной очертанья.

Пески времен заносят все следы,
И лишь одна дорога обозрима,
А посему не проходите мимо –
Венерин грот не терпит пустоты.

Ноумани

У того, что ни день –
прострации,
У того, что ни ночь –
поллюция,
У того, что ни луг –
плантация,
У того, что ни грех –
презумпция,
Кто-то в чем-то, но бог
по-своему,
Кто-то в чем-то, но маг
всамделишный,
Кто-то взял и забил –
на кой ему.
Только ты – всё мурак
безденежный.

Утро в Хибинах

Поллитровка и пачка «Памира»,
Перессык, перекус, перемат.
У тебя виновато полмира,
У тебя что ни царь – виноват.
Широка от романовских пьянок,
Глубока от размытых кровей,
Награждаешь чужих китаянок
Трипаками родных сыновей.
Я впитал этот розовый юмор

Школьной мутью твоих «Изабелл».
За тебя умирал, да не умер,
О тебе бормотал, да не спел.
Бестолковая, русская тундра,
За тебя, не жалеючи лир,
Я вдыхаю полярное утро
И сосу эпохальный «Памир».

Бабочки

Я ношу эту боль с собой,
И рожаю своих ежей
В бездиетности
на убой,
В беспробудности
кутежей.
Я пложу череду обид,
И не знаю своих детей,
Только множится
и рябит
Танец маленьких
лебедей.
Не почить бы теперь в хрыче,
Подыхать – так красиво, но
Ты лежишь на моем плече,
Упреждая поход в окно.
И, в каких бы ни был бегах,
Не оставят меня в беде
Эти ямочки
на щеках,
Эти бабочки
в животе.

Прощание

Прибоем изгрызан
Тоскою пронизан
До черни вечерний берег
И я как прописан
Торчу кипарисом
Без девок
Без дел
Без денег
И я здесь наверно
Познал все таверны
Да только себя
Не понял
Какого же ляда
От моря мне надо
Когда через час
По коням
Свистать всех
Полундра
И в лысину тундры
Три тыщи кэмэ
До плеша
А чертова лужа
Вцепилась как в мужа
И лижет меня
И тешит
А чертово море
Как хрен на заборе
От южных широт
До сопот
Прибоем излизан

Тоскою изгрызан
Торчу кипарисом
Во как

Так много

Так много можется.
Но, все же,
И муху тапком –
Бац –
Заплачешь хило, тонкокоже,
Ну полный пи... абзац.
Так много знается,
А толку
От муторных «жи-ши»,
Когда последнюю футболку
На пищу для души
Меняешь.
Хочется абсента,
А тут с утра:
Кефир –
Работа –
Дом –
Разделись –
Энто –
Спокойной ночи –
Хрррр....
Тыгдым-тыгдым бегущих мыслей
Наляжет на хомут –
Так много хочется от жизни,
Что столько не живут.

Аллергия

Как бы так, деликатно, спрыгнуть
С обязательства век дотопать, и
Выполнять ежевечную прихоть
То желудка, то сна, то похоти,
Бороздить темноту, калечась
О тупые углы безденежья.
У меня аллергия на вечность.
Впрочем, все излечимо – ею же.

Позвольте

Позвольте, ну как не глумиться
Над теми, кто болен?

Вот – ходит и носит дешёвые лица,
А сам запоролен,
Сутул,
Молчалив,
Обезвожен с утра.

Выходит на паперть двора,
И машет кадилом
Дурной сигареты,
И что-то бормочет при этом,
И дыры медведит по насту,
Гневя полусонную паству.

А мы-то сильны
До скрежета.

А нам пополам –
Кто держит-то?
То древний обычай,
Не мода ведь:
Убить,
Затоптать,
Изуродовать –
За эти рога над плечами,
За эти века бессмертия,
За это служенье –
Врежь ему.

Дубина...
Вторая...
Третья...

И что ему надо,
Ведь места живого нет –
Восстанет из ада,
Воскреснет в обед –
Поэт.

Позвольте, мы правы.
Конечно же, правы.
Но вот заморочка:
Поэтов прощают и боги, и бабы.
Прощают. И точка.

А что-то

Вернешься из ада – вечер,

На рай остаются крохи,
И те барабанят в печень,
И те никотинят вдохи,
И в тазике та же люстра,
И в телеке та же «Няня»,
И в темечке то же чувство
Воронко-образо-ванья,
И гомон на вой богаче,
И нервы сошли на тики.
Чего тебе надо, старче –
Живи и сопи в две дырки.
И, вроде бы, сыт, не гложет,
И, вроде бы, мыт, не сален,
А что-то мутит до дрожи,
А что-то опять просрали.

Когда б

Когда б ты знала, где меня носило,
По чьим мечтам протопал я:
Ать-два,
И сколько их цепляли мне грузила,
Используя волшебные слова,
И сколько их, оставленных в блаженстве
Неведенья – ума не приложу.
Я так привык солировать в оркестре,
Что нет причин возлечь под госпожу.
Когда б ты знала прелести охоты,
Когда, примерив даму к пиджаку,
Не спрашивая: «чья ты?», или «кто ты?» –
Ведешь ее к двуспальному станку.

Я их рядил в прозрачные текстили,
И развращал без горя и стыда,
И так всю жизнь, пока не разбудили
На самом интересном. Как всегда.

Мурмаши-3

Сосед, пополнив на фляжку,
Размножил окно в осколки,
И рвёт на себе тельняшку,
И бьёт кулаком в наколки.
Страна не таких теряла,
Кайло не таких излечит.

Торчит в проводах (застряла)
Луна, головой Предтечи,
И сопка, ущербным тортом,
Все тянет берёзы к югу,
И прячет восход за горбом,
И крестит столбом округу.

Талант

Порой, усомнишься: «а Богом ли дан» –
Поет у козла гармоника.
Раздача даров, что пальба по кустам,
Ведется вслепую.
Вона как:
В стихах – сотворит из нуля божество,
На деле – то врет, то мразится.

Талант, что понос, не щадит никого –
Какая таланту разница.

Шла попадья по воду

Шла попадья по воду,
Чуни топя в насте,
Что-то плела шепотом,
И наплела – здрасьте:
– Что позвала, матушка?
Али с попом тяжко? –
Черт молодой рядышком
Лапы мостит к ляжкам.
Ткнуть бы его щепотью,
Только в таких лапах,
Мягко – силов нетути,
Сердце горит – ах как.
Так и нашли – хладная,
Да сожжена в копоть.

Что там – «мораль», ладно вам.
Жаль попадью, ёптить.

Выжат

Бетонные тонны тонут
в чёрной ночи чухонской.
Я вполшизы,
но тронут,
двинут,

упёрт,
туп.
Я знаю:
уйти из комнат –
лечь за компанию в доски.
Глупо глаголить в город,
тупо топтать
труп.
Он выжат и выжран жадно,
сморщен,
мощён мощами.
Я за стеклом
как в банке –
аспид,
упырь,
вампир -
ползу, понимая:
"надо!" –
на выход,
с ключами,
с вещами,
к педалям,
коробке,
баранке –
в тонны,
в бетон,
в мир.

А он

Он как-то ни к селу,

И к городу никак.
Живет в своем углу,
Ни сволочь, ни дурак,
Квадратные очки,
На роже ни греха.
Смеются мужички,
И бабоньки ха-ха.
В один дворовый рот
Галдят наперебой,
А он который год
Таскает всё с собой –
И то, что на виду,
И то, что на душе,
И то, что любит ту,
Которая уже.

Отморозки

Как-то песенно все, иллюзорненько,
А на деле – привет лунатикам:
Что ни вечер – толпа беспризорников
Промышляет по добрым дяденькам.
Клей «БФ» и пакет, как водится,
До «куда я попал?» –
Кондиции.
Где ж страна ты моя-покойница,
С детской комнатой по...
Милиции.
Что ни вечер – иду отморозено
К отморозкам деби... нелеченым.
Пара дуль по карманам разложена,

И когда-нибудь, так же вечером,
Незвонкая голь перекатная –
Охвачу сапогом
По роже я.
Где ж ты, юность моя ненаблюдная,
Где ж ты, вера моя
В хорошее.

Ты не стоишь

Утомился алхимик, бита посуда,
И нигде не найти жилетку.
Ты не стоишь мизинца этого чуда,
Сующего гвоздь в розетку.
Раздувая по строкам пенные страсти,
Запрягая тома в приписки,
Ты не знаешь и доли этого счастья -
Поесть из кошачьей миски,
И заходишься воем, в луны миноря,
И на всех лишь одна гребенка.
Ты не стоишь и капли этого моря
Восторженных глаз ребёнка.

Трижды три королевства

Трижды три королевства
растворились в войне и голоде
за каких-то пятнадцать июлей.
Только капсула детства
неизменно защита в воротах.

Если что – раскусил,
и в люлю.
Насовсем.
Баю-бай.
Смешно же?
Ну, не делай широкую пасть.

Можно ль, с этой реликтовой рожей,
напроситься на титьку?
Ась?

Трижды три королевства.
А много же,
ёлки-моталки...

От того ли так тошно и тесно,
от того ли всю жизнь из-под палки
сам себя -
от тепла к январю,
от «люблю» к алтарю,
от «хочу» к «получил»...

Получил ли?

Трижды три королевства –
и потерям таким не учили,
и не ведали,
и не знали
педагоги вселенской морали,
что такое случится:
бац...

Я давлю на педали.
Кто-то рядом (опять не пристегнут)
курит в ухо (лишил бы наследства),
но молчит (хоть за это спасибо).
За спиной,
в зазеркалье, утонут
трижды три (плюс одно) королевство,
под сопранный бубнёж диспетчера.

Я сегодня – ты слышишь –
вечером
разгрызу эту капсулу,
либо...

Богиня на выданье

Мне где-то...
Мне около...
Впрочем, не дашь.
И паспорта нет
(патамушта).
Кастрюли немыты,
Скрипит карандаш,
И муза щебечет на ушко
О сказочных странах,
О теплых морях,
О принце, в три раза моло...(ой!),
А этот козел
Всё маячит в дверях.
Голодный?
Потерпишь.

Не трогай!
Я леди-загадка,
И в каждом «люблю»
Напудрю песком троеточий.
Модем накалился,
В глазах по рублю,
Бегут виртуальные ночи.
Я – знойная фея,
Принцесса пера,
Богиня на выданье...
Кто там?..

Зовёт, крокодил.
Как дожить до утра,
Чтоб снова прогнать на работу...

Возвращение

Шась по твоим рощам,
Шлеп по твоим лужам,
Хрясь по твоим...
В общем,
Всласть по тебе кружен.
Стелян,
Побит,
Выжат,
Дури под два метра -
Я потому выжил,
Чтоб не лежать где-то.
Что до моей грусти -
Ты не бери к сердцу.

Я потому русский,
Что не ношу берцы.
Я потому тут,
Чтоб не дурить там.
Здравствуй, моё чудо,
Родина-ма...
Мама.

Отменили

Тебе так идет
Горжетка к серёжкам,
Накинъ-ка.
И я
При костюмчике – вот.
Причешем собаку,
По бантику кошкам,
Готовы...
А Чудо никак не идет.
Узлами извилины:
«если бы»...
«или»...
Измаялись кошки,
Иссох каравай,
А Чуда все нет -
Его отменили.
Пора бы привыкнуть.
Отбой.
Наливай.

Побег

Судьба как даст копытом в челюсть –
летишь и радуешься:

«эх!»...

Вот так и мы с тобой смотрелись,
когда я ринулся в побег –

с такси,

вокзалом,

паровозом,

стаканом,

краном,

огурцом,

и с тем,

на что тобой был послан –

счастливым, в общем-то, концом.

Есть такие

Есть такие снега, о которых

Напишу –

Не согласишься.

Ни в жисть.

Есть такие полярные горы,

Что невольно берешься за кисть.

Есть такое студёное море –

Нафиг с пляжа

(а пляжа нема).

Есть такое...

Да много в наборе

Из того, что не видно –

Зима.
Эта темень зарёй кровоточит
Еле-еле,
Всего полчаса.
Эта темень, проела мне очи.
Видишь щели?
А были глаза.
Впрочем, к чёрту природы немилость,
Здесь я счастлив,
Поддай куражу.
Есть такое, что даже не снилось.
Ты не знаешь,
А я не скажу.

А оно как всегда

Между рёбер,
с прокрутом.
Боже мой,
и другие небесные жители,
что ж полезного,
что ж хорошего
в пенной луже
«второй положительной»?
Принимать бы не к сердцу,
легче бы
к относительному
относиться бы,
хрен бы с печенью
покалеченной,
да с амбициями-утопийцами.

А оно, как всегда –
в копеечку,
прямо в сердце,
с прокрутом натужным.
И ползешь себе вдаль
по времечку,
по своим же
кровавым
лужам.

И ждёт, подлец

Сосать трёхзвездочное вымя,
Строгать из липы буратин,
Давать им отчество и имя,
Пиная в ящик (путь один),
Менять полжизни на полтонны
Крутого в общем-то дерьма,
Чтоб бабы вышли на балконы,
Чтоб критик выдавил: «весьма»,
Чтоб надоесть последней мухе,
Дымя в затасканный блокнот,
Чтоб доползать к жене на брюхе
Два раза в месяц (или в год),
Чтоб мир узрел тебя, и тут-то...
А он молчит и ждёт, подлец,
Когда срогатишься наутро,
Когда скопытишься вконец.

ВКонтакте

Ты напишешь про цены, общагу,
и свой универ,
про недавний роман,
и какой-то по счету залёт.
Я сломаю башку, что ответить.
Ну вот, например:
Здесь у нас минус тридцать, олени,
и вновь гололед.

Я прочту о соседе-маньяке
(подумал бы кто!),
а потом о проблемах с фигурой
(да жрать надо ме...),
а потом о дебильных законах
(согласен на сто),
и отвечу:
У нас минус тридцать,
готовы к зиме.

Ты наставишь мне лайков
на фото, заметках и проч.,
принимая на веру
из пальца нацеженный бред.
Ты не знаешь, как любит и лечит
полярная ночь,
где с утра минус тридцать,
а дальше посмотрим.
Привет.

Писающий мальчик

Солнце расплывается в омлет.
Лету акварельно фиолетов
Писающий мальчик средних лет
Под доской заслуженных портретов.
Он грозит кому-то кулаком,
Что-то там на морде измастыря.
Я такой же маленький, как он –
Дважды два, деленный на четыре.
Впрочем – по...(художественный свист),
Маленькие падки до безумий.
Я сижу – такой себе таксист,
Он кипит – такой себе Везувий,
Ныне зарифмован, и воспет –
Прямо так, с исчадием на роже.
Солнце растекается в омлет.
Мальчика забрали.
Он мне должен.

Дубрава

Как во поле кистень да палица,
А в чертоге иная забота:
Соберутся дубы,
Намаются,
Натриндятся,
Придумают что-то,
Изойдут поросям на жёлуди,
Настучат в откутюрные груди,
И дежурную гайку в золоте

Отольют колдуны,
И закрутят.
Как в овраге гармонь да девица,
А на горке своя камарилья:
Всё подпишется, всё поделится,
До-мажором пахнет разнорылье,
Грянет гимн,
И, на взгляд потасканный,
Здесь курить и певцам, и актерам –
Я не видел пейзажа масляней,
Чем дубрава, поющая хором.

У этой бабы

Когда одна надежда – перебесится
(и то к обеду веришь через раз),
Когда считаешь дни и фазы месяца,
(и носишь календарик про запас) –
Её швыряет из огня да в полымя,
И хрен поймешь извилистый маршрут.
У этой бабы вечно всё не вовремя,
Родит – а завтра воды отойдут.
Я гавкаю, и снова на попятную,
И сам себе ответить не готов:
В какой капусте найдена проклятая,
И сколько полетит еще голов
Вслед за моей, за Васиной, за Петинной –
Да мало ли влюбленных дураков –
И как вдвоем ужились на планете мы,
И как живем сто сорок сороков.

Ёпти мати

Что ни угол – то засада,
там – обрез, а там – под нож,
то войдешь во что не надо,
то что надо изомнешь,
и уже на автомате
прёшь сохатым на флажки –
сколько можно, ёпти мати,
автоматить без башки?
Ищет жопа приключений,
ищет морда батарей,
если дуб – повысоченней,
если омут – потемней.
По соцветиям морошки,
по наследиям собак,
мозг бежит за руконожкой,
да куда ему –
слабак.

И швырял

Я рожал и тиражил фокусы,
Я хотел в героическом ракурсе
Пришаманиться к вашей тонкости,
Пришалавиться к вашей мягкости.
Я ходил на троих с кастетами –
Не догнали, но морду запомнили,
Я охапил шутя вас (тонна ли),
И носил как дитя километрами.
Это классика жанра.

И нужно ли
 Говорить очевидное?
 Нако-ся:
 Вы каким-то себя озамужили –
 Вместе с тонкостью,
 Вместе с мягкостью.
 Как банально вершится нелепица,
 Как ванильно першит продолжение
 О прожорливой суке-медведице,
 Приводящей планету в движение.
 Я рожал и тиражил фокусы,
 Я из шляпы мира выуживал,
 И швырял их к ногам,
 Как глобусы,
 И летал от того, что нужен вам.
 Ах ты, юность –
 Сплошная бессонница,
 Распрыщавая, блин, рукодельница.
 Сколько баб-то? Уже не помнится.
 Сколько лет-то? Уже не верится.

Лишь бы

Еле на первую дырку
 Старый ремень затянув,
 Стонешь себе под копирку,
 Крючишь презрением клюв.
 Сабелькой –
 Вправо,
 Влево:
 «яжблятакойбля,

заслу...» –

Нищим раздал по хлебу,

Бабам раздал по веслу.

Как же они, скотины,

Неблагодарны,

Тупы.

Мнилось – один единый,

Вышло – один из толпы,

Средняя, в общем, паршивость.

Впору бы плакать –

Да брось,

Лишь бы жилось-не тужилось,

Лишь бы спалось тебе,

Лось.

В этом городе

В этом городе шастает море

по подвалам,

по лестничным клеткам,

и бакланы,

безбрачно миноря,

из-под носа воруют объедки.

Этот город взошел на суглинок,

и обнялся с заплаканным небом.

Я до нитки,

до ржавчины вымок,

и чихаю на выхлопе – эвон

как мозги пробиваются чихом,

как песку прибавляется с шагом –

я брожу разлохмаченным психом,

и шиплю раздраконенным шлангом,
и тащусь, как заправская лошадь,
впереди заскоружлой кареты.
Этот город меня ужокошит,
если я не куплю сигареты.

Медленно и верно

Мы превращаемся в дары природы,
Мы медленно и верно помидоримся,
Мы топчемся в преддверии свободы
От брака, регистрации и полиса.
Мы станем одинаково-комичны
В серьезности – не морды, а котлеты.
Погребут, погребут, и, как обычно,
Передерутся за шмотье и метры
Потомки.
Мы разложимся на атомы,
Перекочем в плодородные низины,
И явемся арбузами-томатами
В вонючие ларьки и магазины
Для пахарей, довольных урожаем.
Сядь,
Не торопи свободный, дивный час.
Мы медленно и верно приближаемся
К реальной пользе –
Обществу от нас.

Баба Дуня

Напрягись, филейный мякиш,
закатись, моя губа –
за меня выходит замуж
баба Дуня.

Дуня - бааа.

Я не знал об этом чуде,
я херовый, вроде, муж.

Дуня – прелесть:

ноги, груди,
и бездетная к тому ж,
одеянье с капюшоном,
неизменная коса.

Я пройду по бывшим жёнам,
намозолю им глаза –
может, ревность пересилит,
отласкают,
а пока
я веду игру на вылет,
я играю в дурака.

Вот, несёшь

Вот, несёшь себя –
бережно так,
упаковано,
ни подножек,
ни кочек,
ни ямок –

нигде.
 Все, казалось бы, в кайф,
 но случается:
 оба-на –
 наступаешь, мудак,
 на свои же муде,
 и бабах.

Посмотри,
 как кукожит стремительно
 то, чем мерился
 с кодой миров и систем,
 и пикирует слог
 до простого:
 «идите на...», –
 и пойдут же, скоты,
 и оттопчут совсем.

Вот, несёшь себя –
 бережно так,
 упаковано...

до-ре-ми-до

я живу в этом мире две тысячи сотен веков
 и ношу не снимая часы сапоги и пальто
 я не прочь бы раздать эту хуеву кучу долгов
 и пилить на губной неизменное до-ре-ми-
 До
 а когда наиграюсь в того кто ещё ох и ах
 а когда наплююсь в океан с парапета моста

я возлягу на пух весь в часах сапогах и пальтах
я открою порталы и вновь досчитаю до
Ста
я накрою поляну для всех недалёких землян
стерегущих чужие грехи и свое барахло
что от жизни просить если снова доволен и пьян
я не знаю другой мне и в этой с рожденья вез
Ло

Я считал тебя богиней

Я считал тебя богиней
И растёкся в кисели.
Я мотал свои бобины
В «до тебя»,
А там – нули.
Ты достойна править балом
И складировать тела.
Я просил тебя о малом,
Ты же попросту брала.
Ты носила «адидасов»
Тренировочную синь,
Ты съедала все запасы
(так бывает у богинь).
Ты врубала «Синий иней»
И входила в апогей.
Я считал тебя богиней,
И считаю. Хоть убей.

Упокойся

Принимает зевок люстра,
Кот орёт на окно (брысь, а?),
И какое-то там чувство –
Я со счёта давно сбился.
Всё икается мне на ночь,
Всё горит как фонарь рожа,
Вот, уносится сон напрочь,
Значит, должен –
Опять должен.
Этот взгляд не даёт шанса.
Призываешь бухло в помощь,
И кромсаешь тебя в мясо,
Воскрешая опять, в полночь.
Не смотри на меня стервой,
Куча «бы», да цена – грош им.
Упокойся моей верой,
Устаканься моим прошлым.

Я люблю тебя, Ж

Я на рыле ношу забрало,
И за хлебом чешу на танке.
Я люблю тебя, жизнь, устало
Оперяя мослы в лежанке.
Я немного прошу – и это
Добываю горбом.
Но всё же,
Я тащусь от тебя конкретно,
Я виляю тебе бульдоже,

Я порву за тебя на флаги
Трех Британий,
Пяти Мартиник,
Я сгнию за тебя в бараке,
А пока – одолжи полтинник.
Я надену свое забрало,
И взреву по морям проселка.
Я люблю тебя, жизнь – так мало,
Я люблю тебя, жизнь – и только.

Тоже мне

Нынешний век фриволен,
Вводишь пароль – и гавкай,
Вот и спешат потоки
Спеться и слиться в кровать.
Хватит орать от боли,
Тыча себя же булавкой.
Хватит рыдать о Боге,
Ежели мне воздавать.
Нынешний рай забросан
Тонной запретных огрызков.
Сбрызнем еще по двести,
Пейте от пуза, мадам.
Хватит слезить прононсы,
Томно грызя самописку,
Хватит пиздеть о чести,
Ежели врёте годам.
Хватит дурнеть по графам,
Бросьте бесславную ношу,
То, что ваяется гордо,

Вам не совсем по резьбе.
Я изменю с жирафом,
Я вас к утру укрою,
Я вас... да ну вас к черту.
Тоже мне – Агния Бэ.

Сожрал

Я спорил с веком -
человек,
а он со мной –
сомнамбула.
Иголка с ниткой,
рак и грек,
гипербола-парабола –
делили кров, диван и стол,
и гавкалось так дружно нам,
а он сожрал меня, козёл,
одним
прекрасным
ужином.

Пьянка в Союзе писателей

Вот свобода – нажрался и гавкай,
Сиком трахай все глории-мундисы.
А подать сюда Ляпкина с тяпкой –
Пусть рубает под корень и суффиксы.
Наводнили страну мозгоеды,
«Цветом нации», бля, наречённые.

На козе не подъедешь – поэты,
 На хз не прокатишь – учёные.
 Им бы всем по пизде – да мешалкой,
 Всё на свете заумью засерето.
 А подать сюда Ёлкина с палкой,
 Пусть узнают, чьи тапки в Расее-то.
 Вот свобода – ори и не парься,
 Изводи эту чёртову опорось.
 Ты стакан не задерживай, Вася –
 Ты давай, за Россию.
 Не чокаясь.

Не тебя ль

Не тебя ль, не жалея стаканов,
 Я, нет-нет, прославляю в веках,
 И травлю Шевчуком тараканов,
 И хожу в подкидных дураках,
 Поддаваясь (зачеркнуто).

Слышишь,
 Как журчит в туалете весна?
 Это я, пролетев над Парижем,
 И (зачеркнуто: посланный на...),
 Предаю непонятки забвенью,
 Надрывая могучий крестец,
 И теряя свое оперенье.

Ты должна оценить, наконец,
 Что, оставшись двуногим при этом,
 Я не мылю в кладовке ремень,

И пою разлюбезным фальцетом,
И несу распрекрасную хрень.

Хороводят

День за днём, чего-то ради,
Жрёшь из этой миски:
Хороводят графобляди
На костях Бориски –
Был бы повод,
Был бы локоть,
И, под гром оваций,
Вознесётся стихокопоть
Жёванных сенсаций.
Иступлённо, вилорого,
Трут кого угодно –
То политиков, то Бога,
То Россию (модно) –
Все срифмуют балаболки
Сайтовых коптилок.

Фрейд смеётся с книжной полки –
Пушкину в затылок.

ну подумай сама

ну подумай сама
хоть чем-то
хоть спинным
хоть костным

подума́й
мир плевал на твоё креще́ндо
он такой же как я
угрю́мый
недоразви́тый тип

по бето́ну
вновь сопра́но гороховых тем
ты орёшь как глухой на икону
ну сама-то подумай
заче́м

Она

Она имеет множество на вы́чет,
Ее имеет множество за так,
И тот, кто обна́чалил – обна́личит,
И вы́несет последнее в каба́к.

Она с утра исходит на ще́дроты,
Но к ве́черу,
Разда́в лимит халя́в,
Сжира́ет худосочные припло́ды,
Едва-едва от титьки оторва́в.

Она целует –
Как она лобза́ет
Холодные распя́тия и лбы́,
И с кем-то пьёт в Гео́ргиевском зале,
И с кем-то трёт –
То вслу́х, то впло́губы.

И я, блюдя пасхальное преддверье,
Сожру в обед соседского ферзя.
Я горд и счастлив -
Я живу и верю,
Куря бамбук,
Кося урюк,
Сося.

Выбирая

«Ты напишешь?» –
и смотрит,
и доит,
и ответишь:
«Ага, напишу».

Нет сигнала,
заключил Android,
поезд мчит,
и понятно ежу,
что писать-то и нечего.
Вшаркав
недокурок в заляпанный пол,
оставляю зазнобу на Харьков,
выбирая из тысячи зол
лишь одно.

Как бездарно и пылко
восстает над сегодня вчера.

Из окна вылетает мобилка.
Всё едино –
менять номера.

Помощник

Она могла бы стерхом,
она могла бы догом,
она могла бы сверху,
она могла бы сбоку,
она всегда готова,
принять любое брутто,
да нынче их, портовых,
и даром не берут-то.
Еще до Перестройки,
в завинченных-то гайках,
она могла бы ой как,
она могла бы ай как,
и, может, так и надо:
она с того июля -
помощник депутата.
Народного.
А хули.

Вещаешь

Без тебя
и с тобой -
ни пусто,
ни густо,

ты вещаешь
с прохрустом почтенным.
Что ж ты делаешь
в этом борделе искусства,
со своим
искусственным
членом?
Или думаешь ты,
что оценят потомки
благомордое «жили-были»?
Ошибаешься:
чтоб разрывать перепонки,
нужно просто
шептать
навывлет.

Хлебать

И где тебя носит, моя благодать,
Пилюля моя сумасшедшая?
Здесь пёстрые версты и мать-перемать,
Здесь рулят вампиры и лешие,
Здесь пять колесниц на десяток возниц,
И сам как железная тонна я,
И рад бы с тобой на хлеба заграниц,
Да ты, хоть умри – телефонная.
И где тебя носит, душа моя? Где?
Ты думаешь, нынче до жиру мне?
Трясу свою русскость по быстрой езде,
И лясы точу с пассажирами,
Считая часы до тебя, до «люблю»,

В придачу к тарелкам и ножикам –
И много, и долго хлебать киселю
По чудным расейским дороженькам.

Не раздавай

Не раздавай обещаний направо-налево,
Сколько плодить эти главы убитых лосей?
Я бы вспахал и засеял желанное чрево –
Дудки,
Там днюет Дионис,
Ночует Персей.
Как ты,
Тому – Андромеда,
Тому – Ариадна,
Время находишь помыслить о том,
Кто сейчас
Пилит рога
И ревёт на тоску водопадно,
Будучи снова оставлен тобой –
Про запас.

Седок

Седоку глубоко пофиг,
Да в какую ему радость –
И божественный твой профиль,
И общественный твой статус?
Он мобильно дерет глотку,
И могильно блестит "Вессон".

Я полцарства отдам в откуп,
Чтоб катился он сам, лесом.
Седоку за глаза хватит
И бухла, и бабла.
Ой, как
Он на каждом углу тратит,
Собирая блядей в койку.
И уже четверых стадо
Выгружаю, даю сдачу –

Он берёт.
Значит, жить надо,
Значит, что-то еще значу.

Твой брат

Твой брат обрусел в поколении надцатом,
Он горд этим фактом, силен и велик.
Он знает три слова, но что придирается-то,
Врождённый инстинкт возражать не велит.
Подай закурить и почтительно вылупись,
Тебе ли не знать, как сурова родня.
Твой брат продвигает наскальную живопись,
И бьёт недовольных, и шлёт в ебенья.
Твой брат православно блюет на Крещение,
И ломится утром в закрытый лабаз,
И ловит чужих, воздавая отмщение
За веру, за баб, за Россию, за нас,
И вновь, под шансон и подъездное ржание,
Под пряную горечь хребта иваси,
Твой брат улетит до прихода в сознание –
В счастливое завтра великой Руси.

У неё

У неё, что ни блин – первый,
У неё, что ни друг – папик,
И, была бы еще стервой,
Не жалел бы – да ну нафиг.
У неё, что ни день – плаха,
У неё, что ни ночь – вежа,
И пытался понять – плакал,
И пытался помочь – съехал,
И дружкам воротил скулы,
Но однажды, ночным шквалом,
Как-то мигом её сдуло,
Как-то мало её стало.
Время душит тебя серой,
Горе дышит в тебя псиной.
У неё, что ни блин – первый,
У неё, что ни день – блинный.

Дураком

И что ты всё ищешь на скатерти пятна,
И цедишь подливку, не трогая проса?
А завтра родит тебя мама обратно,
И будешь барахтаться в позе вопроса:
Кем вырасти вновь? Ивановым?
Петровым?
Поэтом? Ментом? Депутатом? Врачом?
А станешь опять дураком бестолковым,
И мама бессильна, и мир ни при чём.

и боюсь

солнце всходит
и заходит
вроде рано в ямку бух
а болею к непогоде
а желтею как лопух
и боюсь что этим летом
через горы и поля
я приду к тебе с приветом
а оно не встанет
бля

Привычки

Для боли достаточно пары привычек,
И всё, и готово: отняли – страдай.
Всё копишь, дурак, а играешь на вычет,
Оно и без спичек свободному – рай.
Для счастья достаточно пары кроссовок,
Но сила привычки разует глаза,
И пнёт в перегарный, полярный поселок –
За солью,
За спичками,
За...

однажды Рюрик и Бен Ладен

однажды Рюрик и Бен Ладен
носили рюмки по палатам

пока курили санитары
досталось Клио и Минерве
досталось Пушкину из первой
досталось Гитлеру из пятой
досталось Блоку и Сальери
досталось Сету и Венере
а Диогену дали пару
чтоб первым умер от поноса
и никому не раскололся
что там курили санитары

ВВМ

ВВМ по утрам
Напивался холодного пива.
Он шагал через очередь
К бочке,
Распихивал первых,
А потом загружал две канистры
В поэтскую «Ниву»,
И катил,
На ходу сочиняя
Ступеньки шедевров,
И читал их
То заспанной Лиле,
То робкому Осе,
То какому-то лешему,
Утром пришедшему в гости –
По приборам,
На запах,
Он полз,

Лопухами облеплен,
И дополз до вселенского счастья,
А тут – ВВМ, блин.
А потом приходили
Дзержинский
И Дедушка Крупский,
Луначарский как здрасьте,
Но тот хоть паёк приносил,
Кырла Мырла, зашпреханный дойч,
Матерился по-русски,
И какой-то не классик, но Лев,
Пригяделись – Кассиль;
И гурьбой,
Гольшом,
Выбегали на Красную площадь,
И не видел никто
В заливчатском кругу гопака,
Как пинал охреневший возница
Упавшую лошадь,
Как темнели
И выпали прочь
Из штанов
Облака.

Псина

Моя собака слишком много знает.
Кому-то легче пристрелить,
А я вот не могу –
Как можно псину?
И, чем бы я по жизни не был занят,

Меж нами тонкая, но нить,
Она стоит на берегу,
И дышит в спину.
Я много задолжал.
Она простила –
У псин с рождения талант
К науке всепрощенья.
Мы с ней ближайшая родня
(прости, горилла),
Она не ведала команд
С намордничко-ношеньем,
И всё скулит ночами у порога –
Моя собака знает слишком много.

гражданка ворона

гражданка ворона
ну что вы орете
как дива в кровати
из жёсткого порно
держу оборону
в заснеженном ДОТе
да как-то с рогаткой
спорно
мой кот возражает
и сам я на нервах
эй вы кандидатка
в загробные дали
вот вроде большая
пусть даже и стерва
должны понимать-то

задрали
ворона умолкла
под страхом капута
от рук индивида
и виделись
сквозь мутные стекла
полярное утро
воронья обида
и сифилис
уборщицы Люды
метущей планету
от нас до ворот с кочегаркою
я с Людой не буду
делить сигарету
да ну ее нахер
накаркаю

Люби

Порой, накроет самоедство,
Мелькает хроника киношная.
Я родом, девочка, из детства,
Но кто мне даст на выбор прошлое?
Я бельмы в древности таращу –
В армейский нож, кабак да улицу.
Но ты люби меня почаще,
За что – найдёшь,
Ведь ты же умница.

не травите бездомных йети

не травите бездомных йети
им наследовать наши пустыни
им сидеть на голодной диете
возрождая из вони святыни
солнце
воздух
огонь

я оставляю
на пороге конфеты и денежки
и всю ночь
сквозь дырявые ставни
буду пялиться в улицу

хренушки

эти йети тебя презирают
так по-йетевски
и к тому ж
им до фени твои Pussy Riot
им до лампочки Алкин муж
их не взять на поющие груди
им плевать на поправки и акты
им до жопы Обама и Путин

а конфеты и мелочь...
дурак ты

там на сопке
в вечернем отсвете

пара глаз
наблюдает
пасёт
не травите бездомных йети
им наследовать наше всё

В душевой

Мир на то и дурак,
чтоб терпеть дураков;
и, закрывшись в распенистом душе,
намываешь чердак,
и склоняешь богов
вместе с миром,
планетною тушей.
А пиздеть на него –
не ворочать мешки,
изгаляйся до лая,
до воя;
и стучит аш два о
по тамтаму башки
с ядовитым экстрактом
алоэ.

Как на праздник

Спотыкаясь о тени
придорожных столбов
и фаллических труб,
с обязательным годом постройки,

мы несём удивленье
на глазастых фасадах голов –
рыболов,
продавец,
и таксист,
выбегая на зорьке
подоить бестолковую жизнь;

и внучатый фашист,
с каторжанско-баварской фамилией,
отвезет нас в края изобилия
на веселом советском ЛИАЗе.

Через сорок табличек по трассе –
город Мурманск,
вполне так Парижик,
с непетровским окном за рубеж.

А надои все реже и жиже,
хоть на мясо
проклятую
режь.

По костям

Мой сосед – надзиратель,
добрейшей души человек,
продолжатель семейной традиции,
гордость аула.
У него в подчинении
сотни моральных калек,

от которых он кушает, пьёт
и таскает баулы;
от которых и я,
что ни день, пожинаю плоды,
обгоняя норвежских лохов
на костях серпантина,
а затем и его –
не любителя быстрой езды,
чтоб поймать капитанское «блять»
в застеклённую спину.
У него в подчинении
тысячи раненых душ –
сыновей, матерей, и невест,
по возможности верных.
Он прекрасный отец,
и уверен – бесхитростный муж.
От него пострадал не один
Галилей и Коперник,
но не зря юбилейно блестит
на мундире медаль,
но недаром идут капитану
и форма, и сбруя.
Я с утра, по костям,
выжимаю до пола педаль,
чтоб уделать его по сплошной –
это всё, что могу я.

по частям

я вымираю по частям
вот нынче пробудился

нет хвоста
а был вот тут
и бивней нет
обидно прям
оно и с бивнями беда
а как беззубому
сожрут
и уши хлопать разучились
и хобот врос обратно
в мозг
и чаще хочется на привязь
был Киев
был Днепропетровск
Саратов
Мурманск
пара мест
где даже мамонт не жилец
и вот тепло
и два на два лишь
и вымираешь

АСП

Александр Сергеевич Пушкин
обожал перепрыгивать кружки
и смеялся до слёз
учиняя допрос
недогадливой милой старушке
он звонил палачу между делом
он грозил Колымой и расстрелом
и расшатывал бабушке нервы

протоколя на бланках
шедевры

Мажешь

У Творца характер жуткий,
знай – ворчит, да месит глину.
Сотворённый ради шутки,
что ты воешь на картину?
Он сошёл к тебе, тупица,
ты проспал и не заметил,
вот и мажешь по страницам
килотонны томной бреди.
Он пожалует рубаху
с рукавами до могилы,
Он помилует с размаху
всепрощающим кадилом,
и пошлёт тебя по весям,
осенив ядрёной феней -
разбавлять былую плесень
свежим ядом откровений.

Увижу

Я увижу фигу и пойму,
Что живу совсем не по уму,
Что в России святость – не экзотика.
Я увижу пристава в глазок,
И зарою голову в песок –
Вот повеселится наша котенька.

Я увижу деньги и отдам
Все, что есть чеченским городам,
Пусть пойду по миру – это здорово.
Я увижу Сочи и помру
От чумы на славном, на пиру,
Милая, отпой меня Киркоровым.

Пророки

Я не верю родному пейзажу,
я не верю портрету в зеркале.
Ум за разум –
такого расскажут,
что обуешь глаза.
До смеха ли,
если каждый пророчит как хочет –
то помрёшь,
то сопьёшься,
то что-то там.
Даже бедному миру отсрочек
не дают,
в предвкушении топота
звезданутой архангельской конницы.
Шар налево-направо сдвинется,
и моё Заполярье отклонится
не в Париж,
так хотя бы в Винницу.
Я штудирую мутного Крафта,
килограммами семечки треская.
Умиляют прогнозы на завтра,
что-то есть в них родное,
детское.

я люблю тебя

я вогнал тебя занозой
я вдохнул тебя заразой
я знавал тебя серьёзной
и смешной
и в общем разной
я люблю тебя покуда
не нашли меня под дубом
с недовыпитой посудой
с недовылеченным зубом
с недовысказанным счастьем
с необъятностью долгов
со следами на запястьях
и обломками оков

Гиперборея

По причалу снует ветер,
и куда тут вязать лыко-то –
стаканякой,
другим,
третьим
отбивает сосед выпады.
Победит ли, с зимой споря?
Со щитом ли придет?
С честью ли?

А, под бубен Луны, с моря
выступает огней шествие,
и уже не уйти – поздно,

окружили как есть факелы;

а на Синей горе – сосны,
а на Белой горе – ангелы,
а на Черной горе – йети
залипает глаза впалые.
Я подкину ему снеди,
если выживу сам.
Мало ли.

У палатки

День как день.
Воскресают от первых затяжек
Сомогильники разной помятости,
И боятся живых на картинке
С принесённой бураном газеты,
И стоят у палатки на страже,
Ожидая заслуженной радости,
Где одиннадцать весело тикнет,
И вперёд, до конца, до победы.
Так и крепости брались, и страны,
Не считая дворца петроградского.
Так вершилась История. Ну-ка,
Кто не верит – попробуй, оспорь.
День как день. Удивительно-странно,
Что сегодня не слушают Баскова,
Значит это еще не разруха,
А простая, сезонная хворь,
Дрянь как дрянь.

Мне предлагают

Мне предлагают себя на каждом шагу –
женщины трудной судьбы,
кандидаты в портфели,
выставки кошек, собак, хомячков, какаду,
маги, гадалки и прочие добрые феи,
пляски на голоде в городе темных ночей,
лики Тандема – обеды, визиты и речи,
римская мощь
от бесплатных трудов басмачей,
утренний доктор и пять сериалов на вечер.
Мне предлагают секреты эстрадных богинь,
драмы, скандалы –
и скважины ширятся в окна.
Мне предлагают меня же –
такого, каким
я не достоин назваться,
пока не подохну.

Девочки любят

Девочки любят летать на метле,
Что мужикам третий век фиолетово.
Девочки ходят парадом-алле
В чём рождены – мужикам не до этого.
Девочки прут по газонам: би-би,
В воздухе носится то, что не пишется.
Право, дружище, какой им любви,
Если не помнят, как жарить яичницу?
Девочки доят почтенных ослов,

День ото дня пробавляясь барашками.
 Девочкам нужен и лав, и улов,
 Русский размах и турецкие граждане.

Северный град молчалив и суров.
 Вечер. Мороз. У камазища рыжего
 Стая голодных, но гордых волков
 Режется в карты.
 Мы – сила.
 Мы выживем.

Слон

и получился слон
 уродливый такой
 фарфоровый

лепили как могли
 и получались здорово
 дворцы и корабли
 и лошади всех радужных мастей
 и пальмовые заросли
 и страны
 в которых побываем
 и постель
 на яхте посредине океана

а получился слон

фарфорово и чинно
 стоит себе на полочке
 скотина

Холмики

Бакланы засидели подоконники.
Из форточки, со шваброй,
как придется,
спасаешь положение.
Привычный глаз угадывает холмики,
а холмики угадывают солнце
в полярной светотени,
шевелиются, сгоняя куропаток,
и тянутся,
и словно вырастают,
и, кажется, прорвутся,
и выйдут те – уставшие от прятков
с историей,
кому товарищ Сталин
навешал экзекуций.
Там ни крестов,
ни баночек с водичкой;
лишь иногда, восставший из запоя
мой тёзка, деда Мишка,
приносит им «Известия» и спички.
Он сам сидел, и знает, что такое –
без спичек и разжижки.
Он кашляет и что-то там бормочет,
а я бы и подслушал, но далече,
да вроде бы при деле –
я праздную уход полярной ночи,
и шваброй подоконники калечу –
бакланы засидели.

Витька

– Две пачки.
Нет, одну,
на остальное «Мишек».

Вышел.
Распечатал.
Закурил.

Как чувствовал – бежит.

Лет семь мальчишке,
а, может, десять,
больно хил –
Витёк.

– Держи.

Берёт.

– Шпашыба
(рот уже набит).

Мать с кем-то,
папка-инвалид
не просыхает.

Как-то так болит
нехорошо.
Неудивительно,
да хрен привыкнешь.

А Витька – швырь пустой мешок
в чугунный зев,
и побежал громить сугробы –
Витька ж.

Иду домой, сбивая наледь на порошу.
Все чаще пачки не хватает.
Может, брошу.

Звон

Биржа встала.
Довольно лесу
наломали, настригли, навывезли.
За Туломой колотит по рельсу
человек на дневальнoй привязи.
Этот воздух пропитан железом,
эти сопки пропахли баландами,
этот край, словно пайка, отрезан
и проигран за картами мятыми,
самодельными.

Привкус металла
выдыхаю в бессонье полночи.
Кислороду всегда не хватало
за полярным, железным обручем.
Слишком много до воздуха жадных
приезжали сюда под конвоем.
Вон, у берега - сколько лежат-то,
побарачно, повзводно, по двое,
поедино –

ети мои валенки –
ни креста, ни тростинки, ни камня.
Я пытаюсь допрыгнуть – маленький,
я хочу доораться – куда мне.
Звон и плач за холодным зеркалом
одичалых причалов.
Знаешь, как
ощущать и свои молекулы
в этих грязных, мазутных камушках,
в этой трассе на Пяйве и Никель,
в этом всём.

По каким-то из чисел,
здесь проходит заморенный, дикий,
зверомордый, обугленный дизель.
Он похож на машину забвения,
с мешаниной своих тараканов,
где горит не одно поколение,
где и я, перемолотый, кану
в исполинское брюхо.

Послушай,
если правда не только в мясе,
где живут подконвойные души
похороненных здесь, на трассе,
слева, справа, под ней?
Ты же знаешь,
ну кому удивительно это:
раскопают столетнюю залежь,
глядь - лежит.
Как живой, в мерзлоте-то.

Здесь ни тлена,
ни круговорота
демокритовых атомов -
Север.
Может, там,
где лежат эти кто-то,
есть и души?
Не всем же на небе
хороводить морозным сияньем.

Биржа встала.
Сосед-лейтенант
подъезжает к подъезду,
по пьяни,
кривобоко сдавая назад.

И летит над вечерним туманом,
от заложенной сваи моста,
звон по душам,
таким безымянным,
что ни камня для них,
ни креста.

Выжили

А зори здесь громкие,
с бессонными ломками,
с томатными жижками.

Выжили,
расправили перья –

ни люди,
ни звери –
боги.

Ведь всё, что в итоге –
опять вопреки
любым
пятитомным
стокнижиям.
Числа не запомним,
но выживем,
себя потеряем,
но выживем,
и выжжем,
и выжрем,
и выжуем.

Пора бы на лыжи,
по хижинам,
к богиням и боженькам,
а мы бородатим нестрижено,
на радость художникам –
те пишут Святых,
канонически,
вполфигуры,
с такого, как ты,
с такого, как я –
с натуры.

попробуйте

попробуйте
выцедить уголь из копоты
питерской примы
чем не грифель
чтоб вычертить мантру
чеканного шепота
в небе
на море
на каждом рифе
на каждой скале
на челе безразличия
вычудить жизнь из глухой немоты
выжить камень
открыть закавычия
выдохнуть чудо
ослабить бинты
лечь
и спокойно
с улыбкой
из дому
свежей табличкой
уйти в закрома
если бы так
а зачем по-другому
а?

был бы

был бы я шлимой шаломом

я погулял бы со вкусом
я закачал бы спрайт
в мегабутыли
я бы скупил гастрономы
и накормил бы от пуза
тех кто опять играет
в шашки на вылет
я накупил бы пломбиру
мишек пушистых
целый вагон карамелек
на угощайся
сколько вас там по миру
этих шашистов
разве не хватит денег
для мирного счастья

Мальчик

Он идет:
покатый лоб,
бита в пол-экрана –
зацелованный холоп,
мальчик для тарана.
Я иду –
такой же хам,
выглупью помечен,
и ведет меня пахан
мальчику навстречу.
Мы идем,
рабы не мы,
нас не одурачить,

мы сознанием полны –
я и этот мальчик,
чтоб,
исчадием вранья,
каркали столетья:
был ли мальчик,
был ли я,
был ли Бог на свете.

Москаль

На Крещатике кофе по-русски
за полтинник.
Хотелось и в Лавру,
и в музей, дом Тринадцать на Спуске,
и куда-то ещё.
Динозавры
распивают свою «Оболонь»,
а с тобой – бельмонди и делонь,
исполняя капризы на бис.
Я, наверное, жлоб.
Тссс...

Чертовщина.
Метро закрыто.
С Гидропарка до Минской пешком –
эх,
я разделан тобой под орех,
и пою.

Хорошо-то как.

Чуть потише.
Смотри, на кухне
у кого-то зажётся свет.
От бензола кусты пожухли,
а других, попышнее, нет,
и до Минской как до Китая.
Чуть потише,
я сам вот-вот
заору,
да так, что зажжёт
вся округа на кухнях свет.
Комары, блин.

Ненавижу вокзалы.
Таможни тоже.
Ненавижу.

Расскажи мне, что делает Муня,
и куда он справляет нужду,
за утратой моих босоножек?
У меня всё по-прежнему – жду.
Триста лет до начала июня –
потерплю.
Обнимаю.
Я тоже.
И тебе.
И его от меня.
Потерпи.

пи... пи... пи...
пи... пи... пи...

пи... пи... пи...

Блин.

Вот что этим бабам,
как триндеть – так намазано медом,
не отлипнут.

Нежданно,
нахрапом,
заявиться бы: "здрасьте".
Есть больничный,
и вот оно – счастье,
на неделю,
где совесть,
где принципы –
дозвониться бы.

Доброго ранку!
Извини, что нежданчиком.

Пять,
и по дню на дорогу –
семь.
Я хочу тебя здесь и опять,
я хочу тебя там и совсем,
навсегда,
чтоб спаяться в колокол,
ты – пурпурная медь,
я – олово,
и набатить в державные головы.
Топорами границ расколота
не одна изумленная правда.

Потерпи. Это надо.

Надо?

Подстаканник.

Кроссворды.

Немые.

Сосед подшофе.

«гривны-доллары-дешево!»

Купянск.

Валуйки.

Эр Фэ.

Ненавижу вокзалы.

Знаешь, трудно вот так, за семьсот километров.

Монитор – хоть защупай,
а главное где-то
далеко.

А у нас снег.

Рановато – растает к утру,

Если сам до утра не помру,
то увижу молочные реки.

Их разгонят супруги-узбеки,
наши дворники,

чтоб не здесь, а в соседнем квартале,
эти реки в моря вырастали,
и цунамили южные дали.

Вот, сложу из платежки кораблик,
и пущу.

Потеряется?

Елы-палы,
и сто двадцать ударов в минуту, –
да заткните вы это хлебало,
уберите со сцены!
Нудно,
от пяти до восьми время
проползает.
Опять – новости.
Звук на «тридцать».
Чувак в теме,
всё по честному, всё по совести,
по уму –
бла-бла-бла.

пи... пи... пи...
пи... пи... пи...
пи... пи... пи...
сец...

Ну и дура ты, мать.
Кто ж в толпу с телефоном в кармашке?
Сохранил.
Как тебя обозвать?
«Майдализой»?

Смеешься.

Ты не знаешь, как гадко смотреться
в амальгамную рожу.

Только носишь никчёмные бейцы,
только ноешь в мобилу: «я тоже!», –
от бессилия ноешь.

Та шо ты?

Я-то бык, и с заслуженной грыжей,
тут свои Вольдемары-Ашоты,
и катаешь любого, чтоб выжить, –
я согласен.

А ты?

На войне-то труднее вдвойне
завозить на народной спине
безнародье в народную Раду,
правда?

пи... пи... пи...

Молодой человек,
я вам русским твержу языком:
нет билетов!
И что-то вполголоса,
видно, очень по-русски сказала.

Ненавижу вокзалы.

Чёрт, нельзя же так.

Знаю.

И ты меня тоже.

Не подумал.

Ну, ладно, бывает,
вот, как ляпнешь,
а после и доит, и гложет,

хоть разбейся в лепешку.
Не злись на дебила.
Молодец, что сама позвонила.
Хочешь – завтра же...
пи...
(кончаются деньги)
За неделю едва не сбрендил,
тут и так на короткой цепи...
пи... пи... пи...

Я всамделишный – веришь мне?
Хочешь – так, хочешь – эдак мусоль,
намечтай обо мне, что угодно,
только хрен им на рыло,
и в печень мозоль,
и...
Москаль небогат фантазией.
Это ваши, наверно, сглазили.
Кареглазые.
Щирые.
Тьфу.

Вот, опять.
Я знаю: когда ты плачешь –
мой огромный, подобранный осенью,
беспородный, но гордый Алтай
начинает скулить.

Я не верю
восхитительным мантрам падре,
восхитительным в каждом кадре,
в каждой сцене –

таким восхитительным,
что не верить ему непростительно
и преступно.
Запястья чешутся
генетической памятью.

Лето
подмигнет из-за трех рубежей –
Светлой Пасхи и Майских праздников.
Я не сплю, я рожаю ежей
идиотской надежды – классика,
отдающая дядей Шекспиром;
но у дяденьки, что ни финал –
трупы.
Бррр.

Вот и я, наверное, труп.
Только труп непростительно глуп,
и не видит цветов и различий.
Что ни флаг – да какая разница,
что ни клан – да одни и те же,
так же машется им,
так же фразится,
те же задницы,
те же плечи.

Я не знаю счету волосам –
здесь Он прав, хотя не остроумен.
Остается биться в лунный бубен,
чтобы не по дням, а по часам
изменялись фазы.

Воет пёс.
Наверно, на Луну.

Завтра будет не день – денище,
ослепительный,
жаркий,
гордый.
Я смотрел бла-бла-блaшное зрелище,
дотянул до прогноза погоды,
и уснул.
Он уткнулся в ноги,
не скулa – просто так уткнулся.
Я предатель. Один из многих,
кто бросает прирученных.
Дуся,
Таня, Маня, Изольда, и прочие –
для двуногих самцов дороже;
а внутри шевельнётся, погложет,
и стыдливо уйдет в многоточие
штампом, чтоб сильно не мучиться:
«а кому сейчас...»

Правда – кому?

Вот, сидишь в третьесортном дыму,
и, уже полтора месяца,
выбираешь причину повеситься,
а причины – опять к одному.
И не хочешь копать старое,
а оно – словно новый пятак,
что ни день, пробивает чердак.
Бац.

И обрывки последнего ди...
монолог, в общем-то,
и собачий скулёж до пяти,
выгребающий дочиста
все попытки уснуть.

Или спал до сих пор?

Почему-то
параллелится жизнь:
нет ни до,
нет ни после.
Какая-то смута,
какой-то фашизм,
и какая-то чёткая линия,
в тридцать три бесконечных таможни,
отделит бытие от былинного:
разве можно так?

Разве можно?

Будьте прокляты, флаги –
любого окраса и колера,
низводящие дух до отваги
убойного бройлера.
Будьте прокляты, сферы,
орбиты и зоны вращения,
где любовь через двери –
уже извращение.
Будьте прокляты, рожи,
костюмы, улыбки и галстуки –
я такой же, я тоже,

ору из-за насыпи
 на своем, на москальском:
 «пааашли вы!»,
 и чешу той же баней, и лесом,
 помирать за жратву и спасибо,
 погибать за надежду воскреснуть –
 вне границ,
 вне законов,
 вне этих
 развеликих, помпезных тряпок.

Я скулю в мелкосопочный Запад,
 и сижу на рекламной диете,
 задыхаясь от «Примы»,
 между темами дня и прогнозами,
 с добавлением Крыма.

Маменька

Здравствуй, маменька родная,
 неоглядная сторонка –
 тридцать восемь попугаев,
 пять мартышек,
 два слоненка.
 Кто там ломится по лугу?
 Кто там топает по топи?
 Шутку в зубы,
 шапку в руку,
 и пойду, ломая копья,
 со спокойствием удава,
 за иными,

во далече.

Мать, красиво и картаво,
отпоет меня под вечер,
и зайдется от отрыжек,
переваривая стаю –
два слоненка,
пять мартышек,
тридцать восемь попугаев.

Если верить

Если верить долгам –
до меня доберутся
в этом диком, нехоженном месте.
Я, конечно, отдам,
поднесу им на блюде
сантиметры отрубленной чести.
Если верить словам –
я убит многократно,
но опять промышляю паскудством,
по окопам и рвам
собирая обратно,
воедино горелые чувства.
Если верить часам –
не прошло и полмига,
а Земля перестала вертеться.
Мне приснился я сам,
и поди разбери-ка,
почему в камуфляже и берцах.
И поди докажи,
что не сдуру, не спьяну

отходная по миру звучала.
Я хронически жив,
и, святой обезьяной,
обживаю руины начала.

Право

Я тварь дрожащая,
имеющая право
парить свободно и двуглаво
над предрассудками,
двойными сутками законных выходных,
под двухпрограммный телевизор.

Варавва улыбается с экрана
ворованным, актёрским чизом.
Нетронутая дичь
священного заказника
сбирает этот клич
от праздника до праздника,

и каркает орава:
«Варавва!»
во имя и во славу:
«Варавву!»

И я силён спокойствием удава,
Я тварь дрожащая,
имеющая право.

А пока

Распылив чудеса на бюсты,
разменяв слова на биты,
не бомбите козла капустой,
не доите быка молитвой.
Не просите себе пощады
у того, чья мораль – орава,
и такой же паркет брусчатый,
и такой же обед кровавый.
Апельсинка родит осинку,
сдохнут волки и свистнут раки,
а пока и свинцу, и цинку,
есть забота о высшем благе,
где за кровь не берут калыма,
а в ночи не глядят на звезды,
и никак не пройдёт мимо,
и никак не помрётся поздно.

На Причалке

На Причалке суббота выльется брагой
в непокорные, гордые годы
причащенья щедрот и высшего блага
сопричастности к лону природы,
к колыбели вселенной, к Гиперборее,
к мерзлоте и оленьим какашкам;
и убьют непременно дядю Андрея,
и полюбят сиротку Наташку,
и опять подерутся, чтоб помириться,
усмиряя икоту и жженье.

Над Причалкой курлычет утренней птицей
захлопотанный Ангел Прощенья.

перекрёсток

у Луны который день
женская болезнь
створы вынесли с петель
сдвинули навес
и в любое время суток
Солнце на причале

только толпы проституток
ночь обозначают
только ломаная сволочь
там на перекрёстке
заморгает ровно в полночь
жёлтым отголоском
лунной боли

век истрачен
дальше как придётся
я включаю передачу
я иду на Солнце

Я хочу

Эту манну не сыщешь в аптеках,
эта мантра проста и удобна:
замыкает шеренгу питеков

прямоход человекоподобный,

и лелеет себя, и гордится,
и не тратит себя понапрасну,
и бесхвосто несет ягодицы
чародей человекообразный.

А придётся – наденет железо,
оседлает мазутные тонны,
или просто – пальнёт из обреза
чемодан человекоорождённый.

Отольются дежурные реки
на погосты, курганы и плиты.
Я узнал, что в моем чебуреке –
человек, человеком убитый.

Я проникся индейским началом
до щенячьего, звонкого сика,
а за мной, хохоча одичало,
погналась человекокосилка,

и бежим мы по минному полю,
по ночам, фонарям и аптекам.
Я родился, а кем – и не помню.
Я хочу умереть человеком.

Пи-и-и-и

Прилетит же такая зараза,
знай – лови,

или просто терпи,-
прилетит, и до слез, до экстаза:
«пи-и-и-и-и...»,
словно хочет до дыр запищать
эти кости под шкурой плаща,
этот вар в безволосом казане.

Отмахнешься:
– Не видишь – я занят!

Занят тем, что вот так же:
«пи-и-и-и-и...»
в мировую безухость.

Мерзко мне.
Разве можно зачать по любви
с этим миром хоть что-то дерзкое,
что-то смелое, новое, свежее,
без подножек и рожек на фото?

И любая трибуна – манежем мне,
где вершится мечта идиота:
На каком-нибудь «.ru» или «.com»
пять минут помелькать париком,
и опять провалиться в юдоли,
мастурбируя душу,
мол, вот:
кто-то слышал, а кто-то и понял.

Эта тварь мне уснуть не дает,
и буравит, буравит пиццаньем -
моно, стерео, долби и квадро.

Я подамся на выход с вещами.
Может, завтра.

Сто третий

Я сегодня ходил в разведку,
и мечтал покурить в засаде,
и дырявил грудную клетку
незнакомому, злому дяде,
а потом отступал, бросая
наворованные гранаты,
и орава моя босая
уходила со мной в закаты,
уходила в чужие зори
облаками – сто два барашка.
Я шельмован в чужом позоре.
Мне не страшно. Уже не страшно.
Я сегодня ходил и вышел,
мне орать бы стихи и песни,
если б не был сражён и выжжен,
если б не был сто третьим. Если б.

Юлька

От моря и до моря, увешанный запасками,
я рыскаю по вечной мерзлоте,
и, словом на заборе
до печени заласканный,
по встречкам исполняю фуэте.

И нервы на пределе –
на каждом километре я
виляю от непуганых горилл.
А в Киеве неделю жарюща несусветная,
и я бы ей панамку подарил.

От пункта и до пункта змеится разухабисто
аллея недососен и венков,
но веришь почему-то,
что смерть забыла начисто –
и кто ты, и зачем ты, и каков.

От края и до края, до умопомрачения,
я езжу – приспособленный репей.
А Юлька собирает котов и приключения.
А Юльки не хватает, хоть убей.

Запах железа

Мне нравится запах железа,
когда из-под рёва точила
вдруг вызвонит резко и жалко:
«дзiiiiииинь»,
а дальше – снопище пожара,
и пыльная радость процесса
глумленья над мэйдом ин чина,
когда из столовой кромсалки
выводится контур кинжала,
а дальше – заточка, доводка,
и острая, жадная синь
вонзается в палец большой,

когда проведешь по лезвию.

Я слышу последние сводки,
и чёрт понукает вожжой
меня, никогда не железного
в вопросах чужой краснобелости.

Люблю этот запах.
Что делать с ней,
с любовью к последнему доводу,
к железному, синему, жгучему?

Я чую по лязгу и топоту:
страна изменяется к лучшему,
весь мир изменяется к лучшему,
к пещерам, дубинам и мамонтам.

Счищая китайскую грамоту
с клиночной поверхности,
я знаю, что хватит и духу,
и силы, и резвости,
не стать ископаемым слоником,
пройти и войну, и разруху,
и выжить.

По радио тоненько
гундит шепелявая дикторша,
и кромка норвежского леса
сулит беспокойную старость.
Я встречу любого отбитыша,
мне нравится запах железа,
как оказалось.

Воскрешаешь

Щупаешь рану на шее –
опять ножевая,
то-то вчера разошлись тараканы и
бабочки.
Ты берестишь мою немощь,
и я оживаю,
чтоб по весне кровоточить в ведерки и
баночки.

Ты воскрешаешь
и любишь каким-то дурацким,
странным,
дремучим,
тупым,
безобразнейшим образом.
Так и висеть мне –
фамильной, непроданной цацкой.
Так и глумиться –
то словом, то делом, то опусом.

Так и херачить в кювет
за машиной машину,
носом клюя под Deer Purple
и сны внедорожные.
Знаешь, как трудно держать заведенной
пружину?
Знаешь, как больно смеяться,
не веря в хорошее?

Ты воскрешаешь, и я,

в промороженом душе,
плачу в мочалку из лыка –
сопливо, немудро.
Ты восхищаешь.

Я вымыт, отстиран и нужен.
Доброе утро.

Коли

Коли, хоч вбийся, та не спиться,
на стелі бачиш материк,
і лізе в голову дурниця
одна і та ж, за роком рік,
і жереш нігті від бажання
піти, втопитися в Дніпрі –
ось в цій занюханій піжамі,
не дочекавшись пори,
коли і нам зірве намети,
коли візьмемо пістолети,
і десять кроків порохуєм.
Хуй їм.

Рыщет по улицам Фани Каплан

Рыщет по улицам Фанни Каплан
с парой отравленных пулек.
Басков на Кипре, на Мальте Билан,
нет ни Бараков, ни Юлек,
нет Киселёва и дядюшки Пу,

сбрило куда-то Премьера.
 Фанни Каплан ледоколит толпу,
 думает: митинг. А хера –
 Очередь. Мочи нет. Фанни, устав,
 кушает пол-чебурека.

Бабки толпятся у Храма Христа,
 дуры бросаются в реку,
 шлюхи сгоняют с панелей бичей,
 пьёт на скамейке философ –
 все как обычно у них, москвичей,
 вплоть до квартирных вопросов,
 вплоть до пристрастий бомонда к маце,
 коксу и бритой пипиське.

Фанни нашли на Бульварном кольце.
 Фанни ушла без записки.

Фальшивоминетчики

Поп освящает купаты и глечики,
 крестит лафеты орудий.
 Тянут осанну фальшивоминетчики –
 здоровые, в общем-то, люди.
 Кто их осудит – уставших и выжатых
 сменами мётел и флагов?
 Вечером – красные, утром, гляди же ты –
 белые.
 Мойша и Яков,
 сданные, было, соседом за хлебушек
 в сорок каком-то (к примеру) –

тоже простят.

В нафталиновой ветоши
дедушки славят Бандеру –
кто им судья, и кому вы перечите, –
нынче ебут без прелюдий.
Тянут осанну фальшивоминетчики –
здравые, в общем-то, люди.

я в школьном хоре пел на бубне

я в школьном хоре пел на бубне
и думал нет меня бубнастей
пока шаманка тётя Настя
не укротила здесь губу мне
и я провел печальным взором
по здешним сопкам и озёрам
и стёр глазищи
правда Ир
до дыр
а после гнал на мотоцикле
и был я гонщик самый самый
но вдруг узнал я что саамы
по бездорожью прут а фигли
когда олени без заправки
свистят по снегу и по травке
и я напился
правда Мань
ты глянь
я так то парень даровитый
и даже в чем то дароёмкий
но собирающий обломки

своих обломов хоть реви ты
здесь всё огромно и велико
кому я нужен объясни ка
куда податься
плачешь Дунь
да плюнь

Чего-то ради

Чего-то ради бегаю за хлебом
по снегу в тапках, с ямками укусов
чужой собаки. И чего-то ради
смотрю в ночи предвыборный молебен,
гадая, что за черт наденет бусы
вождя. Затем, наутро, при параде,
чего-то ради еду к человеку,
которого ищу в себе, любимом,
но так люблю, что лупы с фонарями –
уже не средства. Рой моих молекул
чего-то ради носится, но мимо
соцветий. И, бесплодными полями,
я мчу на пятидверном аппарате,
чего-то ради.

Ты должен

Ты должен курить без дыма,
ты должен любить педераста,
ты должен пахать без калыма,
ты должен – и баста.

Ты знаешь и сам: не каждый
осилит дорогу к успеху.
Давай же, не ссы, не кашляй,
ты должен – и нехуй.
Ты должен внимать и верить
любой августейшей хохме,
иначе пинком за двери,
иначе подохни
и слейся в очко, босота,
и будь для себя хорошим.
Страна народит двухсотых,
ты должен,
ты должен.

Реанимация

...это было вчера, а сегодня –
девяносто ударов в минуту.
Чифирю, добавляю полсотни,
приближаю уют к абсолюту,
и мечтаю красиво отчалить.
Как-то жаль городить городищи,
чтоб во сне умереть от печали,
и возлечь на сосновое днище,
и не крякнуть под вой некролога,
и не пукнуть во время прощанья,
а потом, на приёме у Бога,
что-то вякать, себя защищая.

...а вчера приходили посменно
персонажи моей разукрашки,

рептилоид андроидный Гена,
и пушистый радар Чебурашка –
до рассвета меняли примочки,
извоняли сервис корвалолом,
и просили её об отсрочке.
Не меня, а её. Я осёл им,
я уже ничего не решаю.

...а сегодня опять умирали –
мне сказали по радио утром,
между песней и курсом валютным.

Жизнь, наверное, штука большая,
если нам не наврали.

Лежит пионер

Лежит пионер – побитый,
без носа и правого глаза,
и галстук в крови, и шорты.
Он правду глаголет, зараза,
он любит её – поди ты,
и, кстати, немножко мёртвый.
Мы выйдем сегодня рано,
пойдём хоронить пионера,
добавим ему украдкой,
зачтём телеграмму Премьера,
восплачем под бой барабана
над правдой его, над маткой,
опустим в сыру землю,
зароем, утопчем, напьёмся,

поделим его наследство
из глаза, зубов и носа,
чтоб как-то ещё причаститься
к мощам убиенного детства.

У шамана

...шаман почесал чубуком
заросшую репу,
и, кружку залив коньяком,
нарожил свирепо
когда-то, лет двести назад,
лицо человека,
и выпил.
Туломский закат
клубил на засеку
туманом,
и ты, туманоид,
отчётливо слышал,
как сопки небритые вторят
лесному дервишу.
И чёрт тебя, право, занёс
в распутье столетий,
как будто на каждый вопрос
ты сам не ответил.
С какой бы ноги ты ни встал,
ты ходишь вперёд.
какой ни носил бы металл,
свинец отберёт,
и, как бы лежать ни хотел,
уйдёшь на спине за ограду,

и это ещё не предел –
оно тебе надо?

Говорящий хомяк

Говорящий хомяк
комментирует радионовости.

Закоптив березняк,
пожинаешь плоды бестолковости
заскорузлой, совковой лопатой,
и опять,
выжимая раскачку,
взад-вперёд,
по забытой,
проклятой
толще зимника,
порешь горячку,
и втыкаешься в чёрный сугроб,
с переваренной трапезой Йети.

На каком бы ни шёл драндулете,
ты хотел бы по миру в галоп –
по бескрайнему, ровному, летнему.

Драндулет замолкает,
и лет ему,
верно, столько же, сколько тебе.

А на мёртвой, шаманской избе
тридцать лет изумрудит лишайник,
и, покуда возвращается шарик,

ты не тронешься,
будешь сидеть,
ожидать вертолётного чуда;
и война, и разруха, и смерть –
пролетят в километре отсюда,
по наезженной «Эм-Восемнадцать»,
где, нет-нет, праворулишь в овраг,
убоясь дальнобойной суровости.

На часах обнулило двенадцать.
Говорящий хомяк
комментирует радионовости.

Ты идёшь

Ты идёшь по каёмке обрыва,
нарочито –
то косо,
то криво,
то хромая на обе ноги –
компостируешь, в общем, мозги,
дрессируешь меня,
пубертатного,
рассопливого,
гневного отрока.

Вылетаю из вонь парадного,
и хватаю попавшихся под руку –
хоть гусыню,
была бы с размерами,
без прицепа,

и с виду не бабка.

Я убожество крою манерами,
я орудую хватко и сладко,
вычищая мозги от кошмара,
и любая вокзальная шмара
закопает мой праведный зов,
хоть на пару часов.

Ты шагаешь по гребню утёса,
нарочито –
то криво,
то косо,
иссушая, дразня и дубиня.
Ты – богиня.

Мой знакомый купается в лужах

Мой знакомый купается в лужах,
не боясь ни машин, ни кошек.
Он драчлив, вороват, ехиден,
но, среди голубых матрёшек,
это лучшее, что я видел.

А другой завывает и стонет,
обрывая ряды прищепок,
нагребая торосы к припаю,
но щадит стариков и деток –
это лучшее, что я знаю.

Я тебе рассказал бы о многом –

баритоня о нашем, высоком,
мы курочим года и лица,
только банка с берёзовым соком –
это лучшее, что мне снится.

А София стоит

На Владимирской сукины дети
облачаются в белые ткани,
предрекая короткий лимит
всем великим на маленьком свете,
и пикируют оземь тюками.
А София стоит.

На Трухановом режут старуху
за оранжево-чёрную метку,
и смеются во весь менингит

разнокровные братья по духу,
и пускают по кругу салфетку.
А София стоит.

На Крещатике рвутся снаряды,
и срывают за шифером шифер,
открывая божественный вид
на извилины серой досады,
заблудившейся в розовом мифе.
А София стоит.

За обломками лягут обноски,
похоронят последних данайцев,

и весёлый, непуганый гид,
таратора привычно, по-львовски,
ткнёт в историю титульным пальцем:
– А София стоит!

Наливай

I

Россия крысится расизмом,
воссев на россыпи
апофеоза той, и этой,
и трижды будущей войны.
За свадьбой проводы и тризна,
и альфа-особи,
творя знамения котлетой,
проводят записи в сыны
Отечества.
И там же,
на кухнях дважды-полтора,
идут на абордажи,
седлают катера,
и на эсминцы – с грудой шапок,
с гирляндой фонарей
под воспалёнными глазищами.
Бульдог упал – гоните шавок
позлей, да посерей,
хоть тощими, но тыщами,
и победим.

II

Сегодня нелюдим,

не заверблюжен миражами
простор «Контакта».
Новый год –
играют в семьи прихожане,
и календарного антракта,
наверно, хватит,
чтоб восполнить кислород.
Мультишные портретики,
на фоне два-и три-колоров,
не чокаясь, но дружно,
по всем законам этики,
взрывают банки помидоров,
ротарствуют белужно
«Червону Руту» в караоке,
и как-то не до драки,
все больше до попойки,
ведь люди, не собаки,
ведь братья, друзья, правосла...
К утру не помнят лиц уже;
глаза открыли –
Год Козла.
Приснится же.

III
Стою себе,
зелёная и мёртвая,
как певчая на клиросе.
Чем больше насыяю, наработаю,
тем жальче будет выбросить –
стараюсь.
Знаешь, в новом воплощении
я человеком стать пообещала –

попроще, полохматей, попещернее,
хотя бы для начала.
Ползи, малыш, поближе к крестовине,
к облезлому, пластмассовому деду,
здесь безопасней.
Где-то к половине
они проводят, выпьют за победу,
и покосятся –
как они косятся
на этого, со шрамами, без пальцев,
молчит, но пьёт со всеми – ишь.
И я кошусь.
Не выдавай, малыш.

IV

Я – плафон,
до люстрации – люстра,
а теперь я надтреснут и гол,
без висюлек и блеска.
Мне грустно
от того, что и статус, и пол,
изменило проклятое время;
но пока не заменят – я бог,
в самом центре, над этими всеми,
раз, два, три... восемнадцать.
Я мог
из протеста погаснуть, но всё же
освещаю их лысины.
Вон,
тот, под ёлкой, он точно поможет –
я, картина, и дверь на балкон –
потерпевшие.

Бойтесь рогаток,
это, право, страшней всех орудий
из программ новостей.
Я – остаток,
я – реликт, освещающий людям
и пиры, и пустые карманы,
и торжественно-пьяные лица.
Нищета заставляет гордиться –
это странно.

V
Господа,
обратите вниманье:
он не верит в мою правоту.
Мы-то знаем, кто с фигой в кармане,
мы-то чуем таких за версту,
мы-то их-то по гриве-то так-то
и вот эдак-то...
Да, я о нём –
о беспалом напротив серванта,
он не дышит сегодняшним днём,
он не русский, он враг настоящий,
занесенный над Родиной меч:
если я для него зомбоящик,
кто же тот, чью короткую речь
я транслирую в эту минуту,
перед боем Курантов?..
Погас.
Темнота, в ожиданье салюта,
колет вилами скопище глаз.
Эх, беда, не наполнили стопки.
Есть –

нашарили свечку в потьмах,
зазвенели и чокнулись: бах.
Где-то выбило пробки.

VI

Салют!

Салют!

Салютище!

Сегодня встреча с будущим,
играющим, бушующим:

ты-дыщ! ты-дыщ! ты-дыщ!

Ослепленные сретеньем,
следят за разноцветием,
желают долголетия,

и тыщ, и тыщ, и тыщ.

Я рухну!

Эй, любезные,

откуда поналезли вы?

Вы люди хоть на граммочку?

Не гните парашет!

Я старый,

старый,

старенький,

я помню все чинарики

припрятанные мамочкой

в ее пятнадцать лет!

Я всё-таки балкон,

не очередь за гречкой,

не площадь, не вагон...

...малыш роняет свечку –

толпой обратно, в комнату.

Потопали.

Затух.
Фффух...

VII

Никто не видел,
как, услышав первый залп,
он побелел,
а на втором
пустился прочь из комнаты.
Такой себе – позорный драп,
захочется – не вспомните
другого случая, чтоб так,
в носках, сквозь канонаду,
бежал по снегу – вот дурак,
закусывать бы надо,
а лучше и не пить совсем,
коль жизнь не научила...
...январь пришёл во всей красе
салютного почина:
ядрёный, минус двадцать пять,
веселый, пьяный, глупый...

– Слышь, бог огня, иди-ка спать,
не хлюпай.

Сдирая капли парафина
с парадных брючек,
малыш идёт, не дожидаясь
волшебных слов: «придет бабай».
Свет починили.
Так-то лучше.
Наливай!

VIII

Россия празднует начало новой эры.

Россия вновь не подкачала -

три холеры,

чума, и тиф на эти евророжи,

оно и правильно...

– Как звать его? Серёжа?

– Да, вроде, Саша...

– Что-то вижу в первый раз...

– Ну, наливай...

За Крым.

За Польшу.

За Аляс...

– А кто привёл его?

– Не помню.

– Наливай...

Россия празднует, собирая из объедков
один большой, когда-то знатный каравай.

Малыш растёт, чтоб умереть за дело предков –
наивных, чистых и устойчивых к водяре.

Притихли нохчи, бандерлоги и жидяры,
притихли янки, лягушатники и ляхи,
притихли все.

В дыре разорванной рубахи

татуировки – скорпион и парашют.

Он шел по снегу босиком –

какой-то шут,
мычащий,
голову руками обхвативший,
и трезвый –
ишь ты.

Водопад

Эта вода, пробиваясь к рассолу,
выточит камень в шамана, выдюжит
в опере вечности первое соло,
выбурлит грады и веси в Китежи,
выжурчит мир во флоридские топи,
чтоб, разметав по ущелью монисто,
влиться в трубу, и выстукивать дробь
в белом, пластмассовом пузе канистры.

Снова

Мир переводит резину –
кто размножаться захочет
в серые, нервные зимы,
в чёрные, чёртовы ночи?
Эры меняются чинно,
веры ломают основы.
Женщину ищет мужчина,
все повторяется снова.
Ваньку берут во солдаты,
так и помрет безбородо.
Глобус, теряя заплаты,

мчится в чужие ворота.
Будет Начало и Слово,
твердь оседлает пучину.
Всё повторяется снова –
женщина ищет мужчину.

Давайте

В стране психологов и зубопротезистов
беззубый псих рожал своих ежей,
и звался Правдой, –
неподкупен и неистов,
с младенческой улыбкой до ушей,
с ковшом баланды,
с керосиновой горелкой,
с облезлым бобиком непуганых кровей, –
сопранил гланды так, что сыпалась побелка
с фасадов банков и ухоженных церквей.
В стране посредников и ёбарей по средам
орала непосредственность.

Мон шер,
давайте нынче без прелюдий и со светом –
я позабыл, как выключается торшер.

С утра

А мы с утра пойдём в музей
больших и маленьких нельзей,
глобальных вето и локальненьких табушек,

хомячьих домиков, расстрелянных из пушек,
клейма врага за недоброшенный окурок.

Нас обшмонает фейсконтрольный полудурок,
нас отрентгенит припогонный недоумок,
залезет в задницы и вытряхнет из сумок
мои рогатки и твои бронепомады.

Дрожа от страха, испуская ароматы,
не попадая зубом на зуб, ибо ню, мы
пройдём в святилище.

Как валко и угрюмо
на наши морды надвигаются громады
стальных предчувствий.

Нам припомнят гей-парады,
каре масонов на заснеженной Сенатской,
фрегаты золота, в обмен на стеклоцацки
и бочку пива обкурившимся команчам.

Нам будет страшно,
будет горько,
мы заплачем,
как христиане-жертвояеды,
как евреи,
как европейцы от китайской гонореи.
Нам будет стыдно размножаться, и плодиться,
и даже нюхаться.

Покорно, бледнолице,
мы прошуршим с тобой на выход,

как на свалку,
платить налоги и бодяжить минералку
лосьоном «Троя»,
чтобы завтра, в полшестого,
вернуться снова.

КПП

Хватит спать,
подъезжаем к Мехико,
или нет, к Абу-Даби.

Нравится?

Раскалённые груды техники,
две травинки,
да бредень рабицы,
вдоль по пашне блестит останками,
то ли берцами,
то ли танками,
заутюженный в пашню.

Страшно?

КПП – два на два без цоколя,
с одиноким уродом дизеля.
Улыбнись,
нас уже отщёлкали,
и теперь загоняют пиксели
в заархивное месиво.

Весело?

Разворот,
по газам,
и надо бы
эту будку, и эти надолбы,
закатать в чернозём,
да здесь
кинешь палку – родится лес.
Закопаешь – авось и правда
нашаманишь мясной человечины,
вместо выгоревшей амброзии.
Я боюсь возвращаться завтра.

Что-то жарко сегодня вечером
в Новоросии.

Гутен Морген

Воздух привычно кислит
от вчерашних салютов,
сопки футболят и месят вчерашнее эхо.
Может быть, йети чихает –
ему, почему-то,
нынче не спится, не жрётся,
ему не до смеха,
чувствую –
фибрами,
жабрами,
тыквой,
мотором –

йети не спустится к дому
с ближайшим приливом.

Ночь обескровлена маем
и взята измором;
день победил,
и толкает стоящих за пивом,
лезет вперёд
с костылями и жёлтым билетом,
плачет в размер продавщицы
и смотрит на полку.
Он – победитель.

На «Первом» балет за балетом –
зря мы купили кота
и пропили двустволку.

Давай сегодня медленно и тихо

Давай сегодня медленно и тихо,
без игрища на мебельных обломках,
без кладбища разбросанной одежды,
без пищи для застеночных ушей.

Сегодня что ни муха – то слониха,
и каждый писк отчётливо и громко
вонзается; и, как себя ни тешь ты,
уходит сон. Тринадцать алкашей,
распиханных по камерам подъезда,
храпят свои симфонии, и стены
стократно отражают диссонансы,

стоблядно отлюбляют чью-то мать.

А нам с тобой и водка не полезла,
и музыка не в горло – манекены,
лежим себе, подсчитываем шансы
не тронуться, не спиться, не предать.

Шла весна

Шла весна, летели мысли,
лёд трещал, молоки кисли,
лез на Жучку белый Бим,
где-то там проснулся гризли,
где-то здесь уснул налим.

Шёл дурак, орал в кастрюлю
про амнистию к июлю,
про налог на сапоги,
про свою родную дулю
и чужие ништяки.

Шла война, рыдали девки,
тряпка выцвела на древке,
что ни Гиви – командир,
и полковник с Малой Невки
мониторил мой сортир.

Шли года, менялись бабы,
за чеченами арабы,
за холерой две чумы.

Ты, наверное, ждала бы –
ну хотя бы до весны.

Я строю чум

Я строю чум,
пока звенят лопаты
окопных зодчих в берцах и жилетах,
пока грохочут траками парады,
уродуя асфальт,
пока галеты

глотаются под сечку и баланду,
я строю чум –
с тобой ли, без тебя ли,
но строю.
Запиши мою балладу –
мне сорок два сегодня нагадали,

боюсь, что не успею до забора,
иль краски не окажется.
Сперва я
построю чум –
коряво и нескоро
рубя, крепя, и шкурой покрывая,

я строю, чтоб к последнему удару
подняться с камуфляжных четверенок,
преставиться с улыбкой – ведь не даром
родился без оружия, без денег,

без воплей по убитым и калекам.
Родился человеком.

Дед Иосиф

1

2010 г.
— Да пошёл ты! —
а он и пошёл:
твердолобый, железный, огромный —
обдывать километрами тонны,
разгоняться ещё и ещё,
выдавая уже на лету
заоктавное, зверское:
«ту-у-у!...»

«...у-у-у!» —
удаляется ужас,
унося первобытные вопли
в лесотундру.
Потея и тужась,
дед Иосиф —
сухая оглобля,
лет двухсот —
перейдёт через насыпь,
обернётся, закурит,
и в лес,
где хранятся лопата и заступ,
где ржавеет двуствольный обрез,
где табак, макароны и водка

под курганом лежалой хвои.

Чу... опять: деловито и ходко
 громыхает зверюга вдали.
 Вновь гудок —
 саблезубый и дикий —
 впрочем, частый для этих широт;
 ведь не зря отшлифованы стыки
 и зияют обломки пород.

Здесь за кровь и последние зубы
 покупался обратный билет.
 Здесь, под насыпью, гравий да трупы
 без фуфаяк, штанов и штиблет —
 без того, что нужней теплокровным.

Под ногами грохочет подзол.
 Дед плюёт в проходящие тонны:
 — Да пошёл ты! —
 а он и пошёл.

2

1964 г.
 Он приехал давно, в минус тридцать.
 Это нынче таких ноябрей
 не бывает.
 Прописан в столице,
 пригляделись -
 и правда еврей.
 Говорил: «на разведку».
 — Геолог? —

рассмеялся.

На Белой горе
перестрелка мороженных ёлок —
вот те зуб, аккурат в ноябре,
по амнистии, в праздник.
А пиво,
что за пиво тогда, при Хруще,
попивали под сёмгу лениво;
и стоящие ложки в борще
захолустной туломской столовки
упирались в портрет Ильича.

Он приехал —
носатый, неловкий,
без прописки, с дипломом врача.

3

2011 г.
Дед копал.
Бездумная железка
тупо скрежетала о суглинок.
Дед копал, мелькая в перелеске,
расширяя чёрную дырину,
вызверяя хомо в неолите.

Хер бы с ним.
И если разобраться,
деду проще —
тёплая обитель,
ванна,

кухня,
 льготы в три абзаца,
 пенсия и, мирные по будням,
 славные, семейные соседи.

Дед копал,
 и в зареве полуднем
 плавилась кусками жёлтой меди
 сгустки мерзлоты.
 Звериным нюхом,
 либо тем, чем славятся шаманы,
 дед решил, что здесь ему и пухом —
 он копал могилу.

4

1935 г.
 Тридцать пятый ударный.
 Нижнетуломская ГЭС.
 Мускулистые парни
 валят потомственный лес.

Здесь, на угле прародителей,
 лес и умрёт, чтоб эти
 парни себя увидели
 в самой большой газете,
 в самой правдивой,
 в самой...
 — Встали плотней!.. Ну что вы?..
 Слышь, ты!.. вон, тот, с усами,
 выйди вперёд!..
 Готовы?..

Клац.

Замполит и четыре охранника
наконец-то бросают пилы.
Завтра утречком, рано-раненько,
самолёт в сто четыре силы
унесёт грубияна-фотографа.
Замполит и четыре парня
вновь ныряют во вражье логово.

Северлаг.
Тридцать пятый ударный.

5

1935 г.
Он узнал её тут же,
как когда-то, в далёком тридцатом.
На московские лужи
надвигались дежурным парадом
облака. Задождила весна
и, казалось, не будет просвета.
Он увидел и понял: Она!

Тридцать пятый,
туломское лето,
плюс двенадцать,
собаки,
этап.
Подскочили блатные, завыли.
Две теплушки отборнейших баб —

и косые пойдут, и кривые,
и вон та, одноногая, тоже
(слышь, Солёный, в натуре твоя!) —
разулыбились тощие рожи,
разматросилась кучка ворья.
— Эй, полегче, жидок!.. —
в пустоту:
он бежал и распихивал туши.
Как в далёком тридцатом году —
он узнал её тут же.

6

1965 г.

— Попал в психушку ффраер тот.
— Который врач?
— Ага, пархатый.
— Вот это, братцы, анекдот...
— Ещё вчерась — ползу до хаты,
гляжу: машина у ворот...
— Оно всё к этому и шло-то.
Зимой и летом, третий год,
всё ходит, ходит на болото,
несёт какую-то муру,
то мамке плачется, то бате...
— А как-то ляпнул: мол, помру —
вот тут меня и похороните!
— Я б оказал такую честь,
отпел бы Йосю трёхэтажным...

— Я что пришёл-то: водка есть?
— У Машки есть.

— Пойдём, расскажем...

7

1935 г.

Она уходила под скрип надоевшей лебёдки,
под гул камнепада, под чьё-то истошное:

«ма...».

Дорогой внезапной,
дорогой счастливой, короткой,
она уходила.

Об этом писали тома:

туннели и звёзды,
вся жизнь, уместённая в доли
последней секунды,
апостолы, трубы, врата —
наверное, так.

Лейтенант, ковыряя в рондоли
надгрызанной спичкой, в тот вечер писал
рапорта:

«С довольствия сняты...», —
и далее двадцать четыре,
включая жида, что с ворами имел разговор,
сержанта, овчарку и...

...сплюнул,
прошёл по квартире,
налил,
передумал,
оделся и вышел во двор.

8

Дед умрёт в двенадцатом году,
задолжав июньскую квартплату.
Машинист заметит на ходу
скрюченное тело и лопату,
даст гудок завистливый, двойной,
сплюнет на решётчатые сходни
и, с мечтой залечь на выходной,
пролетит — не посланный сегодня.

9

— Собака, дети, пианино — сущий ад!
Таких соседей и менту не пожелаешь.
Вот дед Иосиф — вроде, помер год назад,
а так и кажется, что видела вчера лишь.
Такой сосед! Не пара с этим алкашом —
Ни баб, ни радио, и спал на раскладушке.
Он, говорят, своих родителей нашёл —
да что поделаешь, недаром две психушки.
Так ведь убогий, вот и плакала душа:
просил, чтоб там его... где ходят электрички...
А всё едино — схоронили в Мурмашах,
как человека, по закону и с табличкой.
А нынче пломба даже дня не провисит —
тот не остыл, а эти впёрлись на квадраты...
Во, слышь: опять играет гаммы, паразит...
Бандит и сволочь — помяни мои слова-то.

10

Атлас — не помеха. На, держи.
Вся страна — как зайчик на открытке.
Что, нашёл посёлок Мурмаши?
Напрягись, осталось две попытки.

Время — утро, около пяти.
Пёс храпит в углу за пианино.

Я хочу прожить, не перейти —
растянуть хотя бы половину,
но опять, в тревожном полусне,
слышу рёв махины сине-жёлтой.
Я смеюсь в заляпанном окне
и кричу вдогонку:
— Да пошёл ты!

Я не знал

Я услышал её за десятым холмом,
я увидел щиты и перья,
и почуял испуг, необъятый умом
в перепачканной правдой вере.
И горела вода, и кипела земля,
и священник крестил базуки,
а за тридцать монет окрестил и меня,
отмолил и послал на муки.
Я не думал с утра, что в обед полюблю,
а под вечер уйду в подзолье,

и большая семья соберёт по рублю,
чтобы как у людей, с застольем,
с полутонной кутьи, с полупьяным попом,
возглавляющим лес народа.
Я оставлен войной на десятый потом,
а кукушка молчит два года.

Половинка

Я цунамлю ботинками лужи,
наполняясь мускатами дринка.
Я такой же как ты, только хуже,
дорогая моя половинка.

Я приветствую старых соседок,
даже кошек при этом пугая.
Без тебя мне ни так, и ни эдак,
половинка моя дорогая.

А дожди зарядили надолго –
это к счастью, по старой примете.
Только в Солнце ни проку, ни толку,
если рожу мою заприметят.

И не видят дождливые боги,
и не знают туманные черти,
как иду я к тебе, кривобокий –
к половинке, оторванной смертью.

Человечит

человечит меня с утра
чрезвычайно
может выдать давно пора
эту тайну
мол добряк я
медведь балу
просто душка
всех пристроил а сам в углу
с раскладушкой
и квартиру отдам в Москве
если будет
и отдамся любой вдове
без прелюдий
и любая моя мура
не случайна
человечит меня с утра
чрезвычайно

Мальчик

Маленький мальчик играет осколками душ,
клеит, врачует, а те распадаются вдрызг.
Мальчик гуляет-не тонет по зеркалу луж,
носит за кудрями маленький солнечный диск,
крестит других, не стыдясь, при живом-то попе,
льёт по заказу соседей из крана вино.
Маленький мальчик растёт на потеху толпе,
чтоб подрасти, засмеяться и выйти в окно.

Пятый

Сергею Шелепову посвящается.

1. Дом

Я – старый дом купеческих кровей,
я – цитадель ушедшего начала,
когда ещё без улиц, без церквей,
без кладбища, без парка, без причала,
рождался город.

Буквы в чугуне
моей таблички – маленькие духи,
кричащие о боге – обо мне,
помноженном на третий век разрухи.
Узоры кладки – точки да тире –
пока ещё не отданы чинушам.
Я – каждый доминошник во дворе,
я – каждый баритонящий под душем,
я – каждый узкоглазый квартирант,
я – каждая судьба.

Зачем я сдался
профессору баланов и баланд,
вершителю гоп-стопа и атаса?
Он трогает и гладит мой фасад,
кадык туда-сюда, дыханье спёрто,
и некому вернуть его назад –
в тюрьму,
в тайгу,
к пиле,

к баланде,
к чёрту,
туда, куда опять ему пора.

О, я-то знаю, видел-перевидел,
как "эмка" заезжала со двора,
как тыкал беломорины водитель
в яичный стык отменных кирпичей,
когда вели – с постели прямо в урки.

Вернуть бы время огненных ночей,
я всё стерплю – и копоть, и окурки,
и пусть опять помочится сержант.
Я – памятник, с табличкою и правом
на более достойных прихожан.
Вот те могли, а нынче...
Да куда вам...

2. Скамейка

Я стою напротив маразматика –
дома. И когда его разрушат?
Жарко от расстеленного ватника,
больно от костлявой полутуши.
С самого рожденья наказание мне,
хоть кричи – но это между нами.
Я татуирована признаньями,
я отполирована штанами –
юбки устарели. Что ни задница –
то шары коттона и вельвета.
Тоже не мешает припарадиться:

вот придут, покрасят ближе к лету –
буду мстить.

А этот не устроится,
сбоку на бок ёрзает, паскуда.
Ночь длинна, а жаль: была бы дворница –
долго бы катился он отсюда,
жёстко бы, и больно бы, и громко бы,
бы...бы...бы...быстрее бы рассветало.

Чу... ни скрипа тёртыми обломками,
пусть уснёт – потерпим для начала.

3. Мост

По мне шагала чешская пехота,
по мне везли заводы на Урал,
а я стою с двенадцатого года –
мне больше века, чёрт бы вас побрал.
С меня ловили тонны краснопёрки,
и мне бы жить в строительном раю,
а я стою – бетонный и упёртый,
уродливо затянутый – стою.

И только ночь короткой передышкой
врачует и колдует надо мной,
и белый тополь – градусник под мышкой –
торчит в бок, прогрызанном войной.
Внизу – Хопёр, печально знаменитый,
но весело бегущий в тихий Дон.
Мои друзья, одетые в граниты,

не знают, как смывается бетон
из года в год, по крошке, по песчинке,
с куриных ножек латаных опор.

Какая ночь! А тут – опять ботинки.
Одно из двух: любовник или вор.
Скорей, второе – вон какая рожа,
и шаг такой, что рухнуть бы пора.
Спаси, помилуй мя, бетонный боже,
от этих мук в полпятого утра.

Ура.
Прошёл.
Подъём, уже светает.
Мне нужен отпуск – срочно, позарез.
Ровесник мой, прославленный Титаник,
лежит на дне. Вот, счастье-то.
А здесь...

4. Балашов

Я – Москва, только ростом поменьше
и поуже в печоринской талии.
Я рождал изумительных женщин,
я гремел по России и далее.
Я ковчег – позавидует Ноев,
здесь не твари по паре, здесь людищи:
двадцать шесть всесоюзных героев –
это в прошлом. И тысячи в будущем.

Я – спортсмен всероссийского класса,

здесь дворы турниками усеяны
и куски загорелого мяса
полюбляют Серёжу Есенина
(а других и не знают, ваще-то),
здесь культура, и шлют к Богородице,
здесь и явка – сто десять процентов,
и "Россия – для русских!", как водится.
Я не место для чёрной халявы,
я не Мекка для всяческой сволочи.

Он пришёл – неумытый, костлявый
и одетый не шибко с иголочки.
Он стучал в мои окна и двери –
далеко тут до нервного тика ли?
Мы, конечно же, люди, не звери,
потому не пришибли, а выгнали.

5. Хопёр

Самый чистый в Европе – шутка ли?
Самый быстрый у Дона – нако-ся!
Я бетон вымываю сутками
(мост, наверно, уже поплакался).
Было время – суда и ялики
прямо в греки несло течение,
а теперь я худой да маленький,
а теперь на плоту – мучение.
Было время, топились барышни –
эх, фартило сомам нажраться-то,
а теперь им за честь опарыши,
да и те на крючках двенадцатых.

Было время...

Бултых...

Здоровенько!

Водяному презент от лешего.

Человек не дорос до пофига,
человек – существо глупейшее.

Ты топиться иль как?

Вбирай уже

полной грудью, чтоб вмиг, не мучаясь.

Вот те, раз: как припомнил барышень –
так накаркал.

А, может, случай, ась?

– Этот пятый из нашего класса.

– Наливай.

Громыхает вдали.

– У тебя зажигалка без газа.

– Чёрт, и правда.

Считаем рубли.

– Что за лето проклятое.

– Да, блин.

Живописной долине Хопра

аплодируют первые капли.

Загостились.

Пора нам.

Пора.

Светка

Твой дом на июльском рассвете
кряхтит, прогибаясь от золота.

В фонтанах плескаются дети.

А в Мурманске холодно.

Твой день на четыре сиесты
поделен. На вилку наколото
вчерашнее мясо – доестъ бы.

А в Мурманске холодно.

И вновь проспиртованный гоблин
падёт от слепящего молота –
милиция, скорая, вопли...

А в Мурманске холодно.

Ты просто допетая песня,
но что в ностальгии плохого-то?

Я рад, что тебе неизвестно,
как в Мурманске холодно.

прилагательные

я уродливый
 дурной
 неприкаянный
 непривязанный гулящий козлице
 я воспитанный шпаной правнук Каина
 я развалина
 бардак
 пепелище
 я один из тех горилл невнимательных
 что берутся без прелюдий за дело
 вообще много было их
 прилагательных
 только ты и половины не спела

Облака

У ветра лёгкая рука
 и южный запах.
 Смотри, какие облака,
 а мы о бабах.
 Теперь ты видишь наяву
 священный танец:
 верблюд залезет на сову –
 родится заяц.
 А ты слюнявишь пустяки,
 слезишь пустоты
 и хлещешь реки от тоски,
 не зная, кто ты.
 Не хмурь икону, старина,

не рви рубаху.
Я подарю тебе слона
и черепаху.

В этом городе

Мы едины как серп и молот,
несмываемые эпохами.
Я люблю этот серый город,
без него откровенно плохо мне.

Мне бы высказать всё, да где там,
хоть до смерти трещи сорокою.
Я иду по его проспектам
и мурлыкаюсь с ним, и трогаю.

Доставая макушкой небо,
рифмоблудя корявым почерком,
я глотаю мороз, и мне бы
надышаться на век с вагончиком.

Я рождён от любви вчера лишь,
карапуз хоть куда – забавный я.
В этом городе ты. И, знаешь,
это главное.

выбирал

я на кастинге зол выбирал
что то меньшее

долгое время
в хороводе мечей и орал
я не знал за кого я
и с кем я

после долгих ничейных ночей
ты очнулась
гламурно
немило
и удвоила связку ключей
в заскорузлом кармане дебила

тихой сапой
болотной водой
бездыханной молитвой старушки
приходил удивленный покой
расставлялись тарелки и кружки

я не гамлетил вечный вопрос
не бухал до мышиноного пульса
просто вышел в окно
там мороз
полетал
покурил
и вернулся

Ведь как бывает

Ведь как бывает:
нарифмуешь пять листов,
а получаешь невъездную пятилетку,

чтоб, нелегалом, хорониться от ментов
в толпе Крещатика.
Поддай-ка сигаретку.

Ведь как выходит:
иссандалишь пол-Руси,
а дома нет.
Зато булыжные подарки
летят исправно, хоть святыни выноси –
баян, гитару и планшет.
Налей по чарке.

Ведь как случается:
раздашься до калош,
и ходишь с нимбом неприкаянной мишени.
А ты всё утро пилишь ногти и орёшь,
что мир несовершенен

Город

Он видится мне праздником –
гулянья, Подол, сырники...
У Города нет пасынков,
у Города есть выродки.

Он чудится мне Дарницей,
он помнится мне звонницей,
и каждый его пьяница
теперь за меня молится,

и в каждом его куполе

крестильная шаль грезится,
в которой меня кутали
в беззубые три месяца.

И кто мне глаза выколет,
когда опущу дуло я?
Какая любовь дикая.
Какая Земля круглая.

Ладно

Ладно, ладно, уговорила.
Два абсурда в одном, и логика:
я опять наедаю рыло,
ты опять ожидаешь подвига.
Мы кипим в первородном сплаве –
ты богиня, а я за рыжего.
Этот подвиг меня прославит,
если суп доварю и выживу.

Где пропаханы

Эти горы хранят в облаках ледяные вершины,
эти реки бурлят от лосося, идущего вверх.
Я глушу турбочокнутый дизель орущей машины
и пытаю шкалу, бороздя океаны помех.

Телефон еле-еле, но ловит. На камень положишь –
заряжается сам. Интернет бы ещё не слетел.
Я читаю пейзажные вирши диванных убожищ

и смеюсь, понимая, что дело в отсутствии дел,
совокупно с растущей ценой на бухло в магазине.
Мне не жаль их, диванных.
Мне жаль покидать этот край,
где пропаханы лунные вёрсты на летней резине,
где зима марсиански долга –
хоть ложись, умирай,

где для каждой горы я придумал красивое имя,
и теперь понимаю язык первородных камней.
Я включаю мотор и дымлю сто тремя воронами
по следам куропаток, песцов и лопарских саней.

Путь

Путь – единицами вплавь, миллионами вброд –
с общим концом для пушистых,
крылатых, ползучих.
Просто подумай: на кой забирать кислород,
если в итоге оставим навозные кучи?
Просто поверь: мы пришли умереть на войне.
Нам выгребать эту честь – остальные не в силах.
Только двуногим позволено спать на спине,
чтоб пролетающий Бог целовал и крестил их.

Я родился святым

Я родился святым, лысым,
я орал и прудил лужи,

не умея писать писем,
не желая побыть мужем,
не кладя этажей мата,
не плодя по ночам вирши,
а теперь из того чада
бородатый мудак вышел.
И куда мне теперь деться?
И по мне ли вопит клирос?
Я не помню своё детство,
я в четыре уже вырос,
с незамужней тогда Светой
в тихий час поделив ложе.
Я родился святым – это
неизменно меня гложет.

Тебе ли

Тебе ли спелиться – неспетой,
не смытой в Лету? Что твой век –
две ночи, дважды два рассвета,
и два парсека на разбег,

а ты на старте. Слушай, слушай,
как бьётся время о стекло,
и, ослабев, стекает в лужи.
Харон разбил своё весло

в сердцах о камень преткновенья
двух измерительных систем.
А я брусничное варенье
кладу тебе, и сам же ем.

Пока ты там, за рваной тучей,
рисуешь сходни переправ,
я ложкой время баламучу
в бокале с надписью: «I love».

На грани

Дворовые псы зачем-то
гоняют бакланьи банды.
А, впрочем, и те – задиры.

Родриго достал мачете,
и слышится плач Миранды
из двадцать шестой квартиры.

Иван поджигает баню
вторую неделю.
– Дурень!
Она же из камня! –
Пофиг.

Я знаю, как жить на грани.
Ты знаешь, как спать на шкуре.
Нас трудно убить,
мы профи.

Нас трудно понять – мы сами
басами орём полундру,
швыряем зады на сани,
и в тундру.

Что ты знаешь?

Ты не знаешь ничего. Впрочем,
я не верю ни одной строчке –
в декорацию ушёл почерк,
в мастурбацию ушли ночи,

в аппликацию ушли ямбы
непрожитых романтик стори.
Ты не помнишь, как отсвет лампы
выворачивал из тьмы горе,

вылопачивал из гор глыбы,
и швырял их, и швырял в темя;
только градус поднимал дыбу,
только вечер умножал тени,

но забвенья не давал. Позже
налетят на огонёк звёзды,
и подвинут микрофон: вой же!
И клинически заржут. Просто –

он не пара, при живом муже,
он такой же, как и все – некий.
Закипали в январе лужи,
испарялись в облака реки,

а планета на разрыв пухла,
и сползала в океан наледь.
Что ты знаешь о любви, кукла,
повелевшая себя славить?

не думай о грустном

не думай о грустном
приди вечерком
обстряпаем дело в два счёта
я ближе к обеду дурак дураком
а к вечеру вроде ничё так
помямлим о ценах
пожарим ужа
сметём суету в пару вилок
а много ли надо
моя госпожа
чтоб смерть не дышала в затылок
не думай о грустном

Опоздав

Оседлав чемодан, я курю,
как всегда опоздав.
Все билеты ушли,
а попутчиков тыщи и тыщи –
ежедневно от первой платформы
отходит состав
направления «Нах»,
и свободного места не сыщешь.
Я швыряю часы,
разминаю в пюре каблуком,
и сую убиенную птицу
в дворняжечий носик.
Перегруженный змей
оглашает долину гудком,

и дрожит под ногами земля,
и пока ещё носит.

На Причалке

На Причалке все кошки серые,
с переменностью побежалости.
Ты питаешь меня консервами –
то из вредности, то из жалости.
А в консервах стекло толчёное
запечатано. Выжил чудом я.
Ты одна среди серых – чёрная,
слишком чарная, хоть и чурная.
И, когда ты идёшь по насыпи,
вою нервно я, растарашенно:
мя-мя-мяу, мне мяса, мяса бы,
не консервного – настоящего.
На причалке все кошки грязные,
измождённые недоливами.
Ты пытаешь меня показами,
с отдалёнными перспективами.

Лысина

Я ненавижу эту лысину,
мишень летающих мазил.
Как много смелых, независимых,
и прочих мыслей я носил

под этим черепом, увенчанным

волнистой шерстью. А теперь
уходит в сало человечина,
всё реже хочется за дверь,

всё чаще спится за штурвалами,
всё пуще колется внутри,
и жизни мало, мало, мало мне,
и эта лысина... Смотри:

по центру гладь, по кругу истина
седеет редкою лапшой.
Я ненавижу эту лысину,
и этот лысый мне чужой.

Девочка Настя

Муторно, зелено, только не молодо,
вот и любимый – десятый по списку.
Девочка Настя, осколок филолога,
плачет над серым гранитным огрызком,
пьёт «Амаретто» и мочится сахаром,
варит стишки в мамалыге спряжений.
Девушка Настя гуляет по трахарям,
что не вредит чистоте отношений.
Тётенька Настя подтянет оладушки,
шасть за порог – и готова победа.
Истинно так: не стареет у бабушки
только отличие оной от деда.
Годы берут – не податься в пирожники,
так и тачать сапожищи хорея.
Бабушка Настя, филолог от боженьки,

просит на пиво.
Налей ей.

Жить хорошо

На дороге то баба с ведром,
то карманная фи́га.

На морозе едва попадаешь на кнопки.
В ответ:

– Ожидайте!..

Господь не вернёт нам ни доли, ни мига
ожиданья всего и повсюду –
украденных лет.

На дороге то чёрная кошка,
то звон колокольный,
а в салоне иконки –
со страху согласишься во всё.

– Ожидайте!..

А он улыбается, словно не больно,
и глаза приоткрыты,
и дышит, и кровью несёт,
как наутро
в мясном павильоне колхозного рынка.

На дороге то яма,

то кочка,
то крест,
то венок,
то несётся дурак,
то ползёт черепахой блондинка,
то провал на секунду –
не выспался,
первый звонок.

– Ожидайте!..

Толпа любопытных галдит и торопит,
наблюдая, как два идиота ползут под металл
искорёженной фуры –
а там то ли «Форд»,
то ли «Опель»,
и кусок человека.
С минуту дышал.
Перестал.

На морозе отчётливо видишь,
как облако пара
поднимается,
бьётся о крышу,
ползёт из щелей,

и уходит.

В солярном болоте рассыпана тара,
так и есть – погорим с помидорами.
Лей, не жалей.
Подбегают.

Орут.
Выползаем.
Звоним.

– Ожидайте!..

Минералка глотается вёдрами – к
упим ещё.

Я прочту на суровом, гайшном,
закликанном сайте:
«...от полученных травм...» – и так далее.

Жить хорошо.

Блины

Угораю, и снизу печёт мне.
Не оставь меня, Боже. К тому ж,
печь блины тяжелей и почётней,
чем вопить о спасении душ.

Это лучше, чем вдовить молодок,
отправляя мужей на войну.
Перепробовав пять сковородок,
нахожу неизменно одну.

Изведя половину кастрюли,
получаю не ком и не слизь –
это лучше убийства бабулек,
это поиск, поэзия, жизнь.

Эту радость последнего поца
не берут времена и мечи.
Вот за это и стоит бороться.
Угощайся, пока горячи.

И родим

от искомых уже оскомины
как обрыдли всё те же грабли
и дались тебе правды помины
если радости в них ни капли
не ищи в мелодраме ужаса
вся страна на игле и клизме
приходи посидим потужимся
и родим эту правду жизни

Бабайка

Лохматый, что подмышка папуаса,
крикливый, что разбуженный бирюк,
ты мявкаешь, выпрашивая мяса,
а я тебя, как водится, морю.
Усатый, что армянская бабуля,
опасный, что тигрица на сносях,
ты греешь мне и тапочки, и стулья,
ты ждёшь меня – проныра и босяк.
Куда тебя, кудыкиного кума?
Кому тебя, команчей командир?
Ты скачешь как кроссовочная пума.

Ты лечишь мой, прокуренный до дыр,
кузнечный мех. Я так бесчеловечен,
что ты орёшь, пугая всех собак.
Терпи, мужик – все горести от женщин,
поймёшь потом. Ты умный. Я дурак.

И подмигивает

Много славы, мало почести
быть голодным на пиру.

В тишине и в одиночестве
Будда кушает икру.
Откупоривая «Хеннесси»,
он бросает озорно:

– Быть добру – куда мы денемся,
если сдохнуть не дано!

Я подглядываю в щёлочку,
и желудочный подсос
успокаиваю щёлочью
малосольных, детских слез.
Я дикарь, и найден в пятницу,
с красным шёлком на груди.
Я умею лишь тирадиться,
да вышагивать пути.

Много славы, мало почести
кочевать тудым-судым.

Мир забыл себя по отчеству,
я забыл себя святым –
удобряю тленом бренности
третью жизнь, а сто в уме.

Будда пьет вторую «Хеннесси»
и подмигивает мне.

Хроника

Чёрная хроника белых, усталых ночей
сдобрена сагами беглых и байками пришлых.
Здесь и резня горячей, и заварка горчей,
здесь и любовь – то петля, то шагание с крыши.
Липкое марево малых, тюленьих широт
стынет на камне баландой – ни вкуса, ни цвета.
Скалятся скалы и поедом жрут кислород –
все восемнадцать и восемь десятых процента.

Синяя хроника древних, бездонных морей
хорится звонами чарок и зовами чайек.
Завтра потоп, а сегодня - всего и скорей.
Завтра ответ, а сегодня и Бог не начальник.
Сотни роденовских поз: «у кого бы занять?»,
тысячи новых полян и непиленных сучьев.
Море волнуется раз и волнуется пять,
чтоб по субботним приливам выкращивать лучших.

Жёлтая хроника пёстрых, орущих миров
сводится к разным калибрам закрученных гаек.
Каждая вера – ограда, бойницы и ров,

каждая правда – вчерашний, оставленный шкалик,
 каждая воля – спокойный налоговый сон,
 каждая пуля – частичка Всевидящей Башни,
 каждый восторг – неизменный прыжок из кальсон,
 с правом вернуться обратно. В свои ли – не важно.

Красная хроника первых, портретных полос
 женит кадила и пушки, дворцы и молельни.
 Здесь начиналось посадом, а вырос погост,
 здесь напустились и скопом друг друга поели.
 Выжив – ни рыбой, ни мясом – считаю века,
 щёлкнув забралом, иду к уцелевшим соседям.
 Я занимаю мозги под залог языка,
 чтоб пропустить миллиарды и выйти последним.

Ближе к телу

Пешеходы всё меньше бесят,
 пошехонцы всё ближе к телу.
 Я и сам подустал в железе,
 латы скинул – а что надену?
 Ты и гладишь товар, и крутишь,
 восхваляя до слёз, до брани,
 разноцветные горы рубищ,
 разнотканные груды рвани.
 Я кошусь на халат. И лучше
 с колпаком, он идёт к мигрени.

Телевизор всё чаще включен –
 это старость. А ты – «прозрень».

И надо бы

И будет шипеть
потревоженный змей кипятика,
и будут шаманить в кастрюлю потоки воды.

Швыряя в чифир макароны,
шахую Ботвинника
компьютерной лошастью.

Псина, не чуя беды,
лизнёт мою голую пятку,
и будет отправлена
к первичному признаку,
вальсом,
на пару с котом.

Лошадка погибла.
Мне жаль.
И, наверно, неправильно,
что время убито.

Я вновь пожалею о том,
но завтра.

Затянется рана,
потянет на лирику,
вернутся посланцы,
грядёт примиренье сторон.

И надо бы дать выходной моему кипятику,
да не с чем добить и забыть полкило макарон.

14-й км. Финской дороги

Собака метит бревнотаску,
дополнив сагу парой строк.
Причал спокоен, да не ласков –
здесь помнит каждый уголок,

как плащ-накидки драли глотки,
и сонно кашляли ЗеКа –
кто от простуды да чахотки,
кто от плохого табака.

Накрыло снегом купоросным
щепу и костную муку –
недаром призраки, по вёснам,
гоняют чай на берегу,

пугая рыб и пару хаски,
обживших пепел гаражей,
напротив старой бревнотаски
в районе новых Мурмашей.

На рояле

На рояле,
умазанном белой эмалью
автомобильной,
за огромной –
хоть скачки устраивай -
сценой ДК «Текстильщик»,
мы сидели всю ночь,

и за что-то стремительно пили -
то настойку женшенья, то спирт
за четыре дефолтовых тыщи.
Лишь потом я узнал:
дело чести для рок-музыканта –
размножаться на крышке рояля.
Теперь я ученый.
Двадцать лет и три года –
попробуй, верни-ка обратно.
И тебя не вернуть,
и рояль перекрасили в чёрный.
И не пьют – ни на нём, ни за ним,
ни под ним,
потому что
с той зимы он пылает в далёком,
рояльном аду –
с той зимы, как не стало тебя.
Мне и трезво, и скучно
оправляться в руинах ДК на былую мечту
о бессмертии.

Вавилон

Вавилон выстекляется в Сити
на Третьем кольце,
выливая три тысячи солнц
в иоанново пекло.
Я страдаю по трём именам,
как хасид по маце,
и, на случай, таскаю платочек

и баночку пепла.
Чингизоиды резво клепают
последний венец,
свертикалив ублюдка змеи
с винтовым дирижаблем.
Я ищу хоть лазейку,
чтоб выйти из этих колец –
к именам и размерам,
которых не помню.
А жаль, блин.

И в путь

Три чечена под окном
штурмовали гастроном,
а потом взорвали газ –
раз.

По пути в Абад Берлин,
проходил араб (один),
спёр лопату и дрова –
два.

Депутатат и прокурор
завалились в коридор,
так и пили до зари –
три.

Мне-то что, а вот сосед
машет звёздочкам вослед

с подоконника, и в путь –
фьють.

время собирать

есть душа и я при ней
посмотри какое чудо
я из собранных камней
строю дом отсель дотуда
ты ручонки не марай
сам управляюсь в одиночку
может хватит на сарай
с погребочком

Колыбельная ветра

Колыбельная ветра берёт на сосульках арпеджио,
наливается плавным крещендо от сопки до сопки,
с подголосками чаек, гагар и храпящего лешего,
с переливами лая, с гудками железной коробки,
выводящей попарные дробы, бегущей от холода
по змее ксилофона в бездонную пасть горизонта,
где рождается в муках полярное, бледное золото,
чтоб пробить непроглядную темь кислородо-азота.

заводи

перекрестим гайдуков
в кривичей да вятичей

зацелуем до пупков
 засосём не глядячи
 аты баты на парад
 булками работая
 что ж ты тянешься до пят
 лента пулеметная

знай распахивай да сей
 русскую семантику
 самогонный Енисей
 выльется в Атлантику
 собиратели земель
 чаны с бубалехами
 заживем отсель досель
 заводи поехали

Я боюсь

Я боюсь примадамленных теток –
 они назойливы
 и уверены в правде
 своих дребезжащих аккордов.
 Посыпая рогатости пеплом, я вою:
 «горе вам!»,
 и пикирую мордой
 в поляну вчерашнего торта.
 Лучше просто забыться,
 являясь папашей Гамлета
 в их цветочные грёзы
 за тайнами струйных оргазмов,
 чем жалеть,

и жевать,
и кивать молодежи:
«вам бы так!»,
и подохнуть на творческом пике
от собственных газов.

Товарищ полковник

Над морем туманы, бакланы,
и мать-перемать,
за морем варяги, Бараки
и полная жопа.
Товарищ полковник,
я просто пытаюсь понять,
куда мне – на свалку,
иль всё-таки можно заштопать?

На небе салюты,
валюты чужих пятаков,
за небом Гагарин
и твари с крылами по паре.
Товарищ полковник,
я слишком устал от долгов,
и все, кому верил,
пасутся в небесной отаре.

На окнах узоры с кругами:
«а ну-ка дыхни»,
за окнами - окна
с цветами и видом на драку.
Товарищ полковник,

я бронью засел во брони,
и выход один.
Приютите хотя бы собаку.

За сопками – сопки,
всё новый, и новый Афон,
чернеют клобуки непуганых,
хвойных монахов.
Товарищ полковник,
включите скорей микрофон,
я просто повою,
пока отливает Малахов.

Аве

Возрыдаше в петитные литеры,
припадаю к тебе, часослов:
аве, гордость за то, что не пидоры,
аве, радость за беды хохлов,
аве, бита, преемница молота,
аве, швабра с дипломом врача,
аве, пристав, увешанный золотом
с моего же плеча

Гражданка моя

Гражданка моя негаражная,
картинка моя пастельная,
уже ли себя не помажу я,
не глажу себя уже ли я?

И как мне ещё соответствовать,
и кем мне ещё рядиться-то,
чтоб сунуть верблюда в отверстие
железных семейных принципов?

Вы дарите чудо причастия
к Венере безрукой истины;
и вновь загуляю как здрасьте я –
ходы наперёд записаны.

Мертва Атлантида,
а в Китеже –
чуть свет колоколит здравица.
Поймите,
поймите,
поймите же:
мы – те, на кого останемся

без лоска, помады и примеси –
собой. И, уйдя в столетия,
окажемся теми, кто вынесет
и выплачет нам бессмертие.

Мамаша моя осторожная,
горгоша моя медузная,
я просто хочу невозможного –
писать и не быть обузою.

Капитан Очевидность

Капитан Очевидность никак не уходит на пенсию,
возлегая в окопе с вином и одним для себя.

Он увешан крестами, ремнями, веками и плесенью,
он умеет плодиться без бабы и спать, не храпя,
он пропах аммиаком общественных будок поэзии,
и соляровой гарью брони, посылаемой в ад.

Капитан Очевидность и думать не хочет о пенсии
до того, как уйдёт на гражданку последний солдат.

Ковыляя

Возвращаться домой
при тоскливой, собачьей Луне,
причащаться куском
прокопчённого, талого снега,
умещаться в себе,
и не выдохнуть душу стене –
для кого и чего
эта миля берется с разбега,
под залиvistый лай
всех, когда-то любимых, щенков,
под сосулечный град,
в жопе негра, в дыре безмобилья?

Ковыляя крестом
в хороводе саамских богов,
ты, которую жизнь,
катишь камень в проклятую милю,
прямо к звёздам.

за каким-то

утро гонит народ по галерам
ты хитёр
персональный кораблик
позволяет пахать и позорно
ошиваться на ру или ком
за каким-то напудренным хером
ты суёшься из паблика в паблик
а потом заливаешь по горло
неумение ссать кипятком
в этом весь ты
мудак и бездельник
ни понтов от тебя
ни денег

и отчаляю

с непечатною печалью
с непочатым краем лун
завтра плюну и отчаляю
в сине море наобум

вот те трубка
вот тельняшка
вот те запад и восток
вот те мент и каталажка
вот те суд и молоток

за долги тебя злодея
оберут до требухи

а хотелось за идею
ну хотя бы за стихи

дай то бог не одичаю
в папуасиях чужих
с непечатною печалью
поминая платежи

Минус сорок шесть

Озираясь, пробуешь припай.
Знаешь ведь: соленый.
Но опять
крючишься, ломаешь каравай,
лижешь...

Это нервы
(твою мать,
в рот кило печенья и т.п.)

Вытянешь хваталки,
пальцы врозь –
смотришь: не дрожат ли?

По тропе
шастает непуганный мороз,
лезет обниматься под бушлат,
шарит по карманам с табаком,
тычется в подмышки...

...не дрожат.

Частым, чарличаплинским шажком,
мчишь себя, чуть теплого, в квадрат
снегом обнесенного жилья –
там чифир, коты и, говорят,
крепость –
но, наверно, не моя.

Уходит

Оно уходит рано, где-то в шесть,
когда творишь ревизию окуркам,
и ленишься подняться, чтоб доестъ
вчерашний суп.

Почтенным полудурком,
возвысишься над логовом, прочтёшь
молитву ежеутреннего кашля,
увидишь отражение – хорош –
и рухнешь обескровлено, вчерашне,
в прохрапленные ситцы.

Через час,
сжимая неродившихся потомков,
ты все-таки обшаркаешь палас,
и выльешься – незаперто и громко –
весь, до остатка, выльешься в песок.

Оно уходит утром.

Наконец-то

пришла пора найти второй носок,
и выйти вон из заспанного детства.

Зацелуй

Распиши мне признание маслицем,
я брутален, доволен и сыт.
Мне сегодня так весело мразится,
а на завтра останется стыд.

Кто полюбит больного да лысого,
кто отдаст, коли нечего взять –
изведу и сиделку, и пристава
батальоном онегинских дядь.

А потом, по ночам, в белом саване
буду шастать по бывшим и тем,
кто подлил мне цикуты, разбавленной
«Оболонью» по семьдесят семь.

Буду мазать кровями простыни,
буду мстить до скончанья годин.
Зацелуй меня в проседи до смерти,
я боюсь просыпаться один.

Готовься к добру

Готовься к добру –
с намозоленными кулачищами,
с чугунным крестом

на тюрбане соломенной крыши,
с мигалкой закона,
и нищими,
нищими,
нищими.
Готовься к добру –
кто-то должен остаться и выжить.

Три тела

Это тело гуляло Василием,
говорило от имени Васи,
било баб от мужского бессилия,
и гоняло сто сорок по трассе
«Кола – Лота».

Это тело пропахло Наталией,
лет пятнадцать носило обновку
и мужьям учиняло баталии,
а потом вызывало ментовку,
и всего-то.

Это тело носило Евгения,
сигареты, щетину, гитару,
и курило плохие растения,
собирая в мешки стеклотару,
словно грузди.

Я стою, исполином над сирыми,
среди сосудов, лишенных напитка,
наполняя пространство эфирами –

то ли радостных дум недобитка,
то ли грусти.

Козёл гуляет с девками по саду

Козёл гуляет с девками по саду,
и ластится, и лапает, шутя,
и тычется в размеры им.
Хотя,
козлу не дашь и сотни.
Я подсяду –
как правило, на третью от угла –
уткнусь в газетный перечень удоев,
и буду косоглазить на тела,
в объятиях бессмертного героя -
козла.
Одно, пожалуй, веселит:
открою пасть – заблею и почище;
но нынче он шагает под софит,
а завтра я – заслуженный козлище.
И чиркает разбитая стрела
от сердца к сердцу –
медью о железо.

Я часто пережёвываю прессу
на той, зелёной –
третьей от угла.

товарищ бочка

товарищ бочка
я страдаю от привычки
гонять ночами разглаженного чёрта
прошу принять меня в дежурные затычки
с дальнейшим правом
намаразмить до почётной
и выйти в вечные
их мячики не тонут
им срут воробышки на каменные лица
товарищ бочка
мне бы маслица к батону
и лет десяток
чтоб допеть и застрелиться

Он с рождения знал

Он с рождения знал
тридцать три языка природы,
он беседовал с камнем –
тот плакал в ответ стихами,
а когда у стенающих зим отходили воды,
он журчал на безумные реки,
и те стихали.
А потом появилась она,
и оной сменилась,
и ещё две оны,
не считая случайных онок.
Он пахал целину,
принимая как божью милость

всесогласие глазок –
блаженных щелей болонок.
В этот год половодье пришло
до вечерней дойки,
так внезапно,
что мир не узнал, кто у Педро невеста,
и вода,
пожирая спагетти сухой осоки,
говорила на тридцать четвёртом,
ему неизвестном,
языке.
Я недавно увидел его с тележкой.
между касс,
под прицелом охраны и собственной Мани,
окружённого сотнями камер
и группой поддержки
от пяти до восьми –
им известно, как плачет камень.

От этих метаний

От этих метаний дурень
ни толку тебе ни места
Опять разбивать ходули
и греться в чужих подъездах
и вновь целовать ледышки
и лапать туман горчащий
А рак зимовал под мышкой
ты брил бы её почаще

Лишь

Всё о том же галдят вороватые, жирные чайки,
всё туда же идут недобритые, сонные мины,
и взрывают косяк, подустав от молитв и зачатий,
коренные пришельцы из трижды воспетой долины,
и сусанит буран, разметая басы по торосам,
и стенает карниз под рядами несбитых балясин.
Лишь Варава ступил за ворота,
размял папиросу,
отогнал репортёров,
икнул,
и ушёл восвояси.

Наше детство

Наше детство ходило в обнимку
с кассетной «Легендой»,
с необъятной Наташкой
(пол-класса: Наташи да Лены),
с бронебойным рублем,
перегретым от близости паха,
с перочинным Карнеги,
с удушьем животного страха
от сухих поворотов ключа на родительской даче.

Этот мальчик ходил, озабочен –
теперь озадачен.
Эта девочка бегала вскачь –
а теперь враскоряку.

Эта пошлость – ровесница мира.
Колбасит.
Прилягу.

Откроешь

Откроешь левый: что за утро.
Откроешь правый: нет ни тучки.
Да не смутит тебя полундра
за дверью с выломанной ручкой,

где аполлонова дщерица
гоняет мух по сонной хате,
и как-то бело горячится
с трубой из органа печати.

Откроешь левый, правый, третий,
вдохнёшь полкапли никотина –
как чудно жить на белом свете,
а ты валяешься, скотина,

в трусах, ботинках – и всего лишь,
под сенью крашеной лошадки;
и что-то взрослое глаголешь
на детской, в общем-то, площадке.

Это, право, честней

Все народы ходили под стрелы и пули,
и громили художества лепки –

изуверы ли?

Если я догадаюсь, что нас обманули,
я придумаю сказку о репке
и уверую.

Если репка наскучит, пришпилю награды,
присобачу погоны, и похер –
будет весело.

Я не лучше, не хуже но, видимо, надо
соответствовать духу эпохи –
кану в месиво.

Я никчёмный папаша, но клёвый родитель –
четверых-то, как минимум, знаю –
и куда ещё?

Это, право, честней, чем рожать на погибель,
и придумывать детям бабая
в шароварищах.

Это, право, достойней гулянья с коляской
по началу конца. Мне вязаться –
им развязывать,
без пощады и веры в папашины сказки,
где судьба у любого мерзавца
одноразова.

Попробуй понять

Я плачу в передник защитой канонами веры.
Апостол пройдёт по ладошкам, воздаст по рублю,
покрестит мне воду, а после уйдёт на галеры –
на том и закончится наше минутное лю.

А верочка-дурочка строит ванильные лица,

и врёт-не моргнет, назначая последний глоток.
Идущий в пике не решает, куда приземлиться,
и где постелить. А иначе вращался бы стог.

И, если поверить тому, что по пьяни наботал,
закурит и выйдет в окно знаменитый барон.
Попробуй понять, а простишь ли – иная забота,
с душком запоздалых даров на алтарь похорон.

От винта

Наверное, ты небо. И тогда
как водится: механик от винта,
окурок из кабины, и вперёд.

Мой опыт, эннотысячный налёт,
размажется баранками шасси,
останется в проторенной грязи

во имя ослепительных щедрот:
чем сладостней – тем жиже кислород.
И вот уже ни топлива, ни птиц,

ни шара с паутинами границ,
где молятся, надеются и ждут
лопата и забытый парашют.

Но пока

Этот шорох за дверью созреет до пары ударищ

сапожищем по морде английского недозамка,
криком: «на пол!!!» –
киношной заменой «пройдёмте, товарищ»,
адвокатом – законным, бесплатным, тупым.
Но пока
он тачает приклад, полируя места для отметин.
В чёрной рамке – жена.
В чёрной куртке – билет в никуда.
Он уйдёт через год – на верёвке,
в мужском туалете
краевого суда.

Здесь

Здесь причастия разной крепости
разливают из общей бочки.

Я впадаю в интеллигентность и
заправляю в трусы сорочки,
дефилирую мимо вывесок,
мимо бывших, а ныне падших,
и боюсь, что вот-вот не вынесу
и отправлю себя к папаше.
Я боюсь, что эффект присутствия
перевалит за все отметки:
запытает меня сочувствием
дым отечества – сладкий, крепкий,
подносящий с утра, и в глаз-таки
кулачище воткнуть гораздый
тем, кто пьёт без штанов и в галстук
самогон из томатной пасты.

До второго пришествия

Перекормленный голубь пометил кубизмы Пикассо и маячит отцом брудершафтного, сизого мира за окном, где пульсируют вены природного газа и чугунная дура, глядящая в небо мортира, называется урной. В музее ходячего воска посетитель за год непременно уйдёт в экспонаты среди кубов и мортир, до второго пришествия мозга, до визита здоровой, живой обезьяны с гранатой.

А ветер

А ветер дышит мне за пазуху и ноет,
и вымораживает крестный алюминий,
и вдаль по форточкам разносит паранойю,
и морит зелень в нераспаханной долине.
Я вычисляю траекторию с карниза –
по центру лавка, справа бабка, слева камень –
и поменял бы свой дородный телевизор
на пару метров целлофана с пузырьками.

В преддверии

Я рисую на ватмане план завываний под душем,
чаепитий, нажатий на «play», воспитания чад,
копуляций, поллюций, икоты, терзания груши
и бросаний курить.
Ты подпишешь, поставишь печать,
и помашешь вослед.

Или нет, не помашешь.
А пофиг –
вот такущий, раскормленный пофиг
в преддверии дня.
Тот, кто будет за мной,
поднесёт тебе чашечку кофе
и добьёт мою грушу,
и бросит курить за меня.

В размеренном параде биомасс

В размеренном параде биомасс
шныряю.

Предводители дворянства,
опухшие от соевых колбас
и мутного, копеечного пьянства,
несут свои костюмы и трико
в автобусы двенадцати маршрутов.

Мне сонно, деревянно и легко
на родине.

И, немощи укутав
в прожженный, домотканый «адидас»,
слагаю полушёпотом рассказец,
пугая постаревших одноклассниц
в размеренном параде биомасс.

Просыпаясь в овраге

Обрываются нити.

Ещё бы

пару войн до конечного блага.

Молокане обжили хрущобы,

пуритане возводят Чикаго,

покрывают сусалом клозеты,

покупают свечные заводы;

а недавно вернули Судеты –

жизнь прекрасна.

Загадка природы,

лужеликий Хопёр, заливая

недожженный позор двухэтажек,

вырывает старинные сваи,

вымывает до древних костяшек

два района.

А к майским салютам

возвращается в тинное русло.

Балашов начинается утром:

чернозёмно, смурно, заскорузло,

переменно-дождливо и русско,

что ни дворник – то свой, бледнолицый.

За стеной – самогонщица Люська,

за окном – самопальная Ницца,

за душой – два рубля и тревога,

с уточнением даты и места.

Ледяная, простынная тога,

водяное, балконное кресло,

нефтяные, кипящие лужи...

Вру безбожно.
Затрите.
Закрасьте.
Балашов начинается в душе:
Очищение.
Родина.
Здрасьте.

– Не грусти по упавшим коронам,
нам погоны завещаны Богом.
Человечина вновь по талонам,
до полуночи все по берлогам –
тишина, благодать, –
затянулся.
На стакан по двойному буль-булю,
и – за тех, кто не с нами.
У Люси
мировой, нерушимый папуля,
что Советский Союз – даже цвета
как на карте – лиловый с отливом.
Мне сдаётся, я слышал всё это,
но когда?

Конопляная нива
за овражным, нехоженным зевом,
предваряет бурьяны подлужья.
В том краю между жатвой и севом
двадцать лет нескончаемой стужи,
с ежегодным ношением флагов
от столба до угла, по июню.
Чей-то кот, мирумира наплакав,
исчезает в закатном предлунье,

полосатым, недремлющим Сэмом.

Я не думал, не верил, а вот как
получается.

Кто он, и где, мам,
этот мальчик в зелёных колготках,
наконец-то усаженный подле
аппарата с уродливой вспышкой?
Если б знал этот дядя, как подло
обещать появление птички,
обмануть, и другого по списку
усадить.

Я-то думал, что чудо
состоится – Серёжку, Бориску,
даже Верку он щёлкнул, паскуда,
даже Верку – слюнявую злюку.
Только птичка, наверное, сдохла,
а душа всё порхает по кругу,
и кукует боящимся Бога,
нищеты, гладомора, пожара –
счетоводам оставшихся вёсен.
Этот мальчик объездил пол-шара,
да остался при собственном носе,
в папу длинном.

Неделя за месяц
в обнесённой церквами консерве.
Только смех вавилонских наездниц
будоражит самцовые нервы,
только звон недобитых стаканов
округляет квадратные даты,
только сворища чудищ поганных,

бородатых, очкатых, мордатых,
да каких бы там ни было – чудищ
из улусов, абадов и сити,
телемордят – куда ни прокрутишь.
Год за пять.

Что за дрянь? Унесите!
Я копаюсь в чужом винегрете,
а на сердце, ни сладко, ни горько.
Мне обещаны солнце и ветер,
мне обещана правда – и только,
мне обещана вера – ни флаги,
ни кресты, ни посты, ни министры,
ни попы...

Просыпаясь в овраге,
смотришь в небо:
нетронутый, чистый
Млечный Путь отворяет ворота,
поджидая Христа и Пилата.
Шепчешь небу, но так сухорото,
что нельзя разобрать даже мата,
и никто не поймёт: эти двое
прямо здесь, у донского притока,
подлечились экстрактом алоэ
и остались у Люси –
до срока.

Пропажи

Здесь угробишь себя на басни,

видя не дальше брюха.
Здесь из крана попить опасней,
чем переспать со шлюхой.
Здесь увиться плющом реальней,
чем приподняться с лавки,
где ведут пересчет морали
вечно живые бабки.
Лунный грунт на моих подошвах
глины долины съели –
ныне пришлый, пекусь о прошлых,
рву на могилах зелень,
протираю кресты и даты:
здрасьте, мои пропажи.
Я, наверное, был когда-то –
кто мне теперь докажет?

На поиск

Опять,
поумнев хоть на пол-человечка,
бодать амальгамную рожу:
«мууу!...»,
а после, рыгая в портретное нечто,
рыдаться Тебе, хорошему,
насаживать веры огрызки на нить,
«Во имя Отца» на три деля,
и выскулить или выскандалить
в Мечети Христа Спасителя
какую-то правду.

Люби меня,

ругай, убивай, но признай меня.
Мне страшно уйти без имени
за то, что не пал при знамени,
за то, что выписывал ластами
смертельные распетелины,
жонглируя гражданствами,
прописками и постелями.

Я плачу в оклады,
Отче, гляди,
как старцы твои довольны.
А певчие курят по очереди
на лестнице колокольни,
откуда мой град – наладонистый,
одноэтажный, маленький –
весь как облупленный.
Совесь-то
день поскребёт – и баиньки,
с певчими, с дьяками, с вором поганым –
ныне Отцом Алексеем.
Я плачу в оклады,
плачу в стаканы,
плачу в подол Расеи.

С утра всё нормально:
шампунь, кофеин,
и там, за окном, как надо:
три новеньких церкви
на фоне руин
больницы и детского сада.
На заповедь меньше,
на исповедь больше –

сметаюсь в комок из крошева,
чтоб выйти с порядочной, паточной рожей
на поиск Тебя, хорошего.

Без тебя

Дарить от сердца и от почек
остаток печени ночам,
кричать во весь корявый почерк
и выкорчёвывать кочан,
корнями жил сушёной шеи
ушедший в душу.

Вот и явь:

я без тебя не хорошою,
а так надеялся, представь.

Не будем

Не будем о птичках – они грустны,
чирикают Лепса и ждут весны,
как хлебом ни пичкай.

Не будем о прошлом – ему пора
облиться бензином в своём вчера –
довольно и спички.

Не будем о счастье – за ним придут,
никто по повестке на Страшный Суд
не шёл без опаски.

Не будем о славе, она мертва –
об этом расскажет моя вдова
твоей, за шампанским.

На балконе

Мать моя, шестидольная суша,
многомужняя дама в трико,
остывает на десять кукушек
до утра.

Высоко-высоко
плачет Бог, и темнеющий купол
выстилагается роем чужих
деревянных лошадок и кукол.

Я здоров и хронически жив
в окружении каменных метров,
в умножении милых причуд –
поглощая пыльцу недоleta,
я пустое шепчу в абсолют;
и вздыхает под оком алтынным,
отдавая ночи кислород,
мать моя, обнесённая тыном
неоглядных, таёжных щедрот.

Я усну после тёплого душа –
трижды чище, добрей и святей,
как младенец – до Фили и Хрюши,
если завтра не будет смертей.
Так случится. Не всё Ему плакать,
прибирая непуганых чад.

Разжижая подлобную мякоть,
я курю.

Мой рассудок зачат
от любви, аккурат за спиною,
в двух шагах от балконной двери,
в десяти от входной паранойи
в три замка.

На пороге зари
спотыкаются майские тучи.
Новый день обживает окно,
лезет в дом. Он счастливей и лучше –
а иначе и быть не должно.

Идиот

Наш третий этаж выстекляется недоумением
в долину Уфимки. Машины с утра голосят
по мне, идиоту. А знаешь, я более-менее
освоил «Каштанку» и сагу про трёх поросят.
И мечется сука-любовь, выжигая отверстия
в прокуренном небе,
в подтёках башкирской зари.
Как больно копать в груди
на предмет соответствия,
и падать, и выть в забубённые сорок и три.

Отмени

Отмени темноту.
Кисло мне,
что ни вечер, тянуть безударную.

Я хожу под себя мыслями
 о побеге в фонарную Нарнию.
 Там ни сна, ни зимы –
 помнишь, как
 растекались чай многолитрово?
 Отмени темноту, солнышко,
 позвони,
 позови,
 позаигрывай.
 А с тобой без медов пивно мне,
 безоглядно,
 безоблачно,
 знаешь же:
 так разнузданный май ливнями
 вымывает троянские залежи,
 и счастливит в одну линию
 макраме, ностальгией дымящее.
 Отмени темноту зимнюю,
 хоть на миг
 обмани
 настоящее.

Оглобли

За окном голубиные свары:
 – Кораллы...
 – Карелы...
 – Курилы...

На панели фантомы гитары
 и чьё-то помадное:

«МИЛЫЙ...»,
с позабытой, замазанной просьбой –
но явно не вынести мусор.

Так и пелось бы,
так и жилось бы –
стремительно,
пьяно,
безусо.

Я хотел Кока-колу и брата;
очнулся – финальные титры.

Не роди меня, мама, обратно,
воскресну – подамся в бандиты,
чтоб тянул родовые оглобли
другой, по пути в генералы.

За окном голубиные вопли:
– Курилы...
– Карелы...
– Кораллы...

Законы

Закон породы:
бегаешь вокруг,
меняя слог, одежду и подруг,
и хоть умри – проснёшься тем же лешим,
и побежишь галопом по манежам.

Закон парада:

ломишься в дома –
не чмо, а мачо-мачная чума,
блестящий, что наддверная подкова,
скотина – а родят же от такого.

Закон природы:

так заведено,
что из добра рождается говно,
и хоть порви живот и ягодицы,
а из говна добро не возродится.

Закон перины:

дудки отзвучат,
и горсти от заплаканных внучат
падут на крышку. Пухом будет праху.
Пока в уме – седлаю черепаху,

и силюсь, выдыхая ацетоны,
освоить эти блядские законы.

Комната

Справа жили кролики. Такие пугливые,
что затихали при каждом стуке,
и было слышно только дыхание,
частое-частое.

Было душно, и ты говорила мне:
- Весь кислород пожрали, суки.
Я отвечал плохими стихами,
по комнате шастая.

Слева жили удавы. Они сплелись
в клубок многолетнего многолюбия,
и давно перешли на манную кашу,
без тяги к приправам.

Справа живущие заясь-и-заясь
давили улыбки во все двузубия,
и факи толпой через комнату нашу
шагали к удавам.

Сверху жили слоны. Так повелось,
что слоны расселяются над головой.
Ритуальные пляски гремели по будням,
время от времени.

В субботу приходили корова, лось,
бизон, носорог и конь ездовой –
и мы до воскресного полудня
были деревьями.

Снизу жили кроты и сарматские копья,
а под ними, как водится адово пекло,
и когда, наконец-то, рожали мента,
было слышно мне,
как голодно урчат раскалённые топи,
как весёлый Харон, прикинувшись грекой,
собирает экскурсии в наши места,
коммунально-жилищные.

Под рёв и крики

Я не видел таких отчаянных лягушек,
не боящихся водопада и ведьминых лун.
Что ни ночь – до утра выквакивают души,
и бурлит кипятком восторга проклятый падун.

Соблюдая режим однокомнатного застенка,
я стелю небеса, укрощая полёт простыни –
это всё, что осталось до завтра.

Но слышишь, Ленка,
как бегут, топотят и гогочут июньские дни,

предвещая покос, урожай
и рифмованный шабаш
воспевателей смерти, разбойников жёлтых аллей.
До принятия кофе четыре часа. Но надо ж,
как распелись, расквакались, дуры. И чует филей

не пожар, не потоп, а какой-то удар по тыкве
перелатанным, пыльным мешком. Я курю в Уфу
с бирюзовой трибуны балкона, под рёв и крики,
сомневаясь, что мир не картинка, а ты наяву.

Мякиш

Думы залитые литрами
шитые рваными литерами
клятые матом приматовым
что от меня-то
надо вам
Хочется ночи бесплачевой
праздника жизни
Сворачивай
влево кобыла обыденности
прямо тупик
не вынести

Семя рассеял где-то я
 лето уже безбилетное
 нечем платить
 а надо ведь
 тушу свою
 оправдывать
 Небо
 кому ты доверило
 сына
 и дом
 и дерево
 Мякиш
 тишайший и шёлковый
 тешит тщету
 стишонками

Мама поёт, веселится и пьёт «Абсолют»

Мама поёт, веселится и пьёт «Абсолют»,
 мама уснёт и пропустит вечерний салют.
 Столько мужей выжигали её потроха,
 хавали-хапали,
 хавали-хапали,
 ха.
 Маму уложат, накроют, и снова гулять –
 стены Кремля отражают сакральное «ять»,
 рвутся меха и парят, никуда не спеша,
 шарики-дурики,
 шарики-дурики,
 ша.

Выхожу в ночи

Как бы справиться
чтоб кирилицей наглаголиться
Выхожу в ночи переполненный за околицу
и мажорю под дево-рыбными рако-овнами

Бесподобны вы
Бесподобны вы
Бесподобны вы

Что мне деточки если Родину фачит гадина
Нарожаю вам десять холмиков
Я не жадина
Я не ахая в ваши нахуи путешествую

Вы божественны
Вы божественны
Вы божественны

Восхитительны при маразме ли при параде ли
Всё на свете вы заваряжили собиратели
За окном моим поликлиника
ныне госпиталь

Вы от Господа
Вы от Господа
Вы от Господа

Как ни выпадет доля дольная выпендрёжница
не печалюсь я
всё получится

всё разложится
 Вы не тонете
 одномордовы
 многоразовы

Пидорасы вы
 Пидорасы вы
 Пидорасы вы

Предынфаркт

Бело-бежевая побежалость
 предынфарктного эпидермиса
 говорит мне:

– Куда мы денемся?

Всё проходит –
 и боль,
 и жалость,
 и самцовое альфа-началие –
 всё условно и так шалавно,
 что не дам ни гроша печали я.

Погоня дубинкой Фавна
 недоласканных дев,
 я верил,
 верил,
 верил в Эдем шалашный,
 Агасфером ломился в двери,
 и делился бессмертием с каждой.

На ковре выцветают олени –
для него не придуман ящик,
он растянут на три поколения
бело-бежево уходящих.

Нынче жарко.
Сплетаются в лапоть
все извилины.
Скоро полночь.
Остаётся со смехом накапать
корвалола –
вонючий, сволочь.

Уфа

В городище на пол-Башкирии
зацветают всё те же кактусы,
по ночам голоса валькирии,
по курбанам буянят бахусы –

та же русская синь твердолобая.
А поди ты, какая оказия:
перешёл Агидель – Европа, а
перепрыгнул Уфимку – Азия.

Он крещён на коне –
увалистый,
бездорожный,
душевный,
набожный.

Здесь в капусте ночуют аисты,
а рождаются кролики – надо же.

Он смеётся в моё безлирие,
изгоняя кураем простудищу –
городище на пол-Башкирии,
Евростан
с азиатским
будущим.

Никогда не ходите лесом

Никогда не ходите лесом,
даже если другим так хочется.
Он напичкан зарытым железом.
В нём одна украинская лётчица
заменяет отряд коммандос.
В нём придурок,
прикинутый турком,
доставляет байрам, на радость
патриотствующим гламуркам.
В нём орёл уповает на дятла
и питает его от сиськи.
В нём кровищей выводят пятна
под державный,
родной,
российский
До мажор.
Кумачовым отрезом
выстилагается путь.
И всё-таки

никогда не ходите лесом
и смотрите,
смотрите
под ноги.

Бу

Папа в шоке,
мама в шоке:
дочь мадам не по годам.
Как бараньи какашонки
бьёт о стену: «я те дам!»;
и, покуда бьют посуду
и бубнят свои табу,
я хочу тебя,
и буду,
буду,
буду,
бу-
бу-
бу...

Твоя Уфа

Поймёшь ли ты, башкортова от плоти,
как радостно глядеться в Агидель,
слоняться на ночном автопилоте,
сморкаться в растуманную фланель,
выплакивать ведерные ноктюрны
и топать через толпы тополей.

Твоя Уфа в разы миниатюрней
моей.

Давай

В пятнадцать я думал, что думаю.

Вот так:

наморщил гладкость,
восстал многотонною тумбою,
воздел пятерню –
и нако-сь.

В шестнадцать я думал, что ведаю –
взойдя на бумажные сопки,
блистал неразменной монетою,
острил на потеху массовке.

В семнадцать я думал, что вытащу
любого слона из болота –
совался во все массолитищи,
стучался во все переплёты.

Родная, давай по последней-ка,
пора бы сорвать эти крыши
и выстонать миру наследника –
пусть думает,
ведает,
ищет.

Умка

I

Чудо-место:

забрался, и лай
на мультяшный парад массовки.
Если есть он, Собачий Рай –
то, наверное, здесь, на сопке,
за Причальной-Четырнадцать.

Ночью
дом напротив становится выше.
Изгоняя дымящие клочья,
он танцует.

А ты – привыкший,
прикипевший к навязанной доле,
приболевший от сырости,
но –
сыт покуда,
и этим доволен.

Дом танцует –
ему всё равно.

II

Твой папаша, саамский громила,
отсаамил толпу иностранок
и смотался.

Недельный подранок –
ты хромал,
а мамаша то выла,
то рычала на грязные руки,
то и дело меняющих миски,

мореманов.

Портовые звуки –
«вира-майна» и русско-английский
перемат –
ты запомнишь надолго,
как матросы свои ОтчеНаши.
По веленью Собачьего Бога,
ты не умер.

Диана постарше –
ей, наверное, год,
а, может,
и побольше –
зверюга та ещё,
попадись – перемелет, раскрошит,
и проглотит.

– Тяв-тяв!
– Гав-гавище!

Плод утехи слона и медведицы,
годовалая лайка Диана,
с малышом косолапым бесится
под махиной портового крана.

Мимо – люди,
тюки,
контейнеры,
автокары,

бакланы,
чайки,
и ржавеют суда трофейные –
вроде, финские.

Это к «Чаппи» –
если сторож зовёт по имени
разомлевшую в будке маму.
Та, тряся несобачьим выменем,
подойдёт к старику-сааму,

навиляет ему:
– Порадовал, –
и лениво зевнёт:
– Свободен.

Мама знает язык усатого,
престарелого дяди Роди.

Родион Алексеич, будочник
с непомерным, библейским стажем,
разгребаёт завалы удочек
и лопат.

Он силён и страшен
в это утро.

Сестрёнку – за шкурку,
под рычание мамки.

Скорее,
вместе с братом,
в заветную дырку –
нет на свете роднее, дырее
и темнее.

Отжившая лыжа
пахнет мамой, но бьёт по рёбрам.

У Алексеича рожа и грыжа –
вот и будь после этого добрым.
В этот день у него зарплата,
ты – огрех и законный вычет.
Он мутузит тебя и брата –
на коленях стоит и тычет.

III

У хозяина крошки в мочалке
нерасчёсанной бородины.

Ты живёшь на забытой Причалке,
с алкашами, домами, скотиной
и подстилкой из козьего меха –
бородища, послав живодёра,
и, попутно, начальника цеха,
попрощался с работой.
Хитёр, а?

Здесь текут батареи.
Да чё там –
ерунда для умеющих плавать.
В доме трижды разруха, с учётом
спаниеля, кота... и тебя вот.
Средь гитар и дешёвых ионик,
кучи книг и дурной акварели,
ты грызёшь свой коробочный домик

под украшенной ёлкой (в апреле).

Первый блин – для тебя.
И четвёртый.
И десятый...
Алло, разлюбезный,
вы достали...

Хозяин печёт и
продолжает знакомую песню:
«фу», да «фу».

Благородная слюнка
расползается в хамскую лужу.

Пятый год ты без паспорта – Умка.
Впрочем, здесь он не больно-то нужен –
расчухонская, белая Гоби,
непролазные горе-трясины,
три калеки
и голые копья
заболоченных сосен.

Ты сильный:
ты хозяина прёшь на верёвке
по заплёванным, зимним дорожкам,
без саней и без лыж.
Ты ловкий:
каждый раз ты обходишь подножки
и довольно рычишь.
Ты смелый:

посылай на любом падеже –
побеждаешь с почётом.

– Ты делай,
не мечтай – подгорает уже.
– Я и делаю, чё ты.

IV

Он шагает,
и вонь сигаретная
по углам перепугано жмётся.
«я не предал...»,
«не предал...»,
«не предал я...», –
принимает полночное солнце
никотиновой люстры.
Тирадины
затыкаются жёванным фильтром.
«ты предатель...»,
«предатель...»,
«предатель ты...», –
отражает вторая поллитра.

Бьётся воздух –
с размаху,
расплечисто,
и трясётся на солнце монисто.
Что ты сделал, кусок человечества?
Чем ты думал, ошмёток зверинства?
И опять на оконной испарине
он выводит защитные речи:

«что ты мог, если сам неприкаянный?»,
«чем ты мог, если мочь-то и нечем?».
Дальше проще: бессонницей высечен,
он решит:

«отношения зыбки,
а разводов – семь сотен на тысячу,
и коты, и собаки, и рыбки
остаются где жили – дома...»

Всё наладится.
Миру-мир.
Он хлебнёт спиртового брома,
и устанет,
и ляжет,
хррр...

V

Там, в Собачьем Раю, наверное,
сам Всевышний гоняет кошек.
Там блины подают с консервами,
как ты любишь – с утра побольше.
Я ищу этот Рай неведомый,
и свищу, и зову по имени.

Раз спасённый и дважды преданный,
ты простишь,
как прощал до гибели
целый мир.

Рассвет

Опять ведут расхристанную тёлку,
бессовестную, рыжую – ведут.

С утра курю и плачу втихомолку
в закашлянный кулак.

И там, и тут
шныряют перешитые кондомы
родного автопрома.

Чуть дрожа,
подходит туша заспанного дома
и тёлку отражает в этажах.

На пастбище ни облачка, ни дымки,
ни пары космонавтов –
пустота.

Зияет незастёгнутой шириной
подъездный зев.

Мяуканье кота
наложится на мерные вжи-вжики
метёлки, измочаленной сплеча.

И только мой – безбашенный, великий,
святой народ поймёт мою печаль.

В доме пахло любовью

В доме пахло любовью.
Бывало, зайдёшь –
и обратно,
спотыкаясь о тапки, бутылки
и миски для кошек –
отдышаться.
Сверлили затылки,
шептались в парадном –
в доме пахло любовью.

В шкафу поселился художник,
и, когда по ночам воздымались миры,
он писал и курил,
подбирая с паркета окурки.

Македонской фалангой
летели на свет комары,
и сгорали.

А утром,
в горниле kloкочущей турки,
зарождался томительный день
в ожидании чуда,
двух коротких звонков,
поворота ключа с медвежонком,
килограмма картошки,
портвейна из чайной посуды
и старушки Луны,
пробегающей мимо и боком,
но всевидящей.

Вот тебе небо –
рисуй, как умеешь,
балаган,
где судьба отдаётся сплеча, как рубаха.
Я расхристанный клоун,
и всё для тебя лишь,
тебе лишь.

В доме пахло любовью.
Досадно, что домом не пахло.

Низзя

Твоя низзя моей низзей,
когда в компании друзей
я подливаю самогон.
А он
совсем не тот боеприпас,
что детонирует на раз,
в сопровождении еды.
А ты
опять рисуешь чемодан,
вокзал, дорогу в мамастан,
в родные, тёплые края.
И я
кручу гордыню буквой зю,
ответив зайкой на низзю,
на вид герой, на деле так,
мудак.

Идёшь

Идёшь по Родине, дыша
озоном звонов.
Как просто жить без калаша
и без гондонов.
Как чудно верить, не боясь
проснуться завтра,
и петть, расхлёпывая грязь,
и ссать рассато.

На фоне дремлющих ментов
и ям по яйца,
глядит в преддверье холодов
портрет данайца.
И, вроде, выборы прошли,
не начинаясь,
но метят рожу кобели,
тебе на зависть,

и будет рожа та видна
до пятых пятниц.
Защемит сердце – вот те на,
допился, братец.
Прохожий, сотый из толпы,
ноль-три натычет.
А мир врезается в столбы,
кутит на вычет,

и всё купается в одном,
сплошном веселье –
и вечность лужи под окном,

и миг спасенья.
Тот миг, на лошади хромой,
к утру доскачет.
Везде воруют, брат ты мой.
А как иначе?

Кухня

В уборной возмущается бачок,
И комкаются, комкаются лики.
А в кухне чок троится в перечок,
И, капая на томик «Анжелики»,
Страна молчит и курит в кулачок,
Кромсая плащаницу на бинты,
В раю глазков и видеокапканов.
И хочется дожить до темноты,
Чтоб выпустить весёлых тараканов
В пространство от посуды до плиты.

Двое

Идут восставшие из пуха –
светлы, незлы, белым-белы;
а ты мне шёпотом на ухо:
- Козлы.
Оно – кощунство и дичанье,
судить рогато хоть о ком,
но я тихонько отвечаю
кивком.
Мы в чаще бронзовых Шевченко

наводим маленький погром –
расейский бомж и ополченка
с пером.

Иных уж нет, а те в загуле –
осталось двое бедолаг.

И можно сдохнуть не от пули.
А как?

Уходите

Друзья, вы такие хитрые –
уходите без прощания.

Склоняясь копчёными митрами,
творят упокойные тщания
вчерашние Клайды.

И надо нам
когда-то испить со свиданьем.
Дыша никотиновым ладаном,
я буду лысеть, обезьяниться,
и верить.

Сойдя в одиночество,
пиная знакомые камушки,
я вновь декламирую почести
и чёрту, и чёртовой бабушке.

И несть ей числа – тягомотине
поминок под хлюпы гармоника
в степях исторической родины,
богатой на свежие холмики.

Разбирай

Поезда не мосты – многоточия эпилогов,
простота прямоты.

На прощание чмокнув,
потрогав,
наплетя макраме обещаний –
ложишься на полку,
как приличный покойник;

и спёрто,
и мутно,
и долго
будет время шарахаться,
тыкаться в грязные ноги,
ненавидя детей,
и куря в туалетной берлоге,
и стеля полумокрую простынь,
и путая тапки.

А наутро,
казённым чайком под «Гусиные Лапки»,
захлебнутся,
изыдут,
издохнут вчерашние планы.

Вот и всё.

Поезда – не мосты.
Разбирай чемоданы.

Замолви

Спаси меня,
девочка лет десяти,
тебя непременно послушают.
Без боли покойся,
без мук долети
в свой Рай,
наконец-то заслуженный.
Там бабушкин кот охраняет кровать,
там каждого знают по имени.
А мне бы успеть за себя дострадать.
Замолви словечко,
спаси меня.

Но

Век за веком войнушка,
войнища, войнушища. Где
ставить пробу на этой,
газетной, набздетой вражде?
Но, пока ты поёшь –
все погоны с тебя облетят
в этой кухне.
Слёзы, пот и кровища –
на днище всегда пересол,
а глаза намозолены злом,
да и сам ты – козёл.
Но, пока тормозишь,
убирая с дороги котят –
мир не рухнет.

О вечности

Я нарыл в желудях падежей,
чтоб состряпать поэму о вечности –
предложения в пять этажей,
длинностоп восхитительно-греческий,
тетрадактиль и нанохорей,
в общем – всё для поэмы моей.

Написал.

Прочитал тишине –
та зевнула и лапкою дрыгнула.

Похвалился дежурной войне –
та отправилась пить на каникулы.

Встал на стульчик,
соседей позвал –
те сбежали с вещами в подвал.

Это страшно – про вечность писЯ,
не найти золотого сечения,
нужных слов.

Тут грамматика вся
не имеет и доли значения.
И кому оно надо, скажи –
вместо пива глотать падежи?

Я порвал её,
сжёл,
растоптал,

искупался и выкинул тапочки.
 Я – вандал,
 однозначно – вандал,
 фас меня, прокуроры гестапычи,
 чтоб дышал в три законных дыры,
 и не лапал
 святые
 миры.

Авария

Вода туманами обкурена,
 Дип Пёрплами воспета,
 и даже вербы загогулина –
 находка для поэта.
 С утра открыта навигация,
 скоты мычат на сопках.
 Вот так – прорвёт канализацию,
 а ты опять в кроссовках.

После каждого вопроса

После каждого вопроса:
 –Кагжизнь? –
 я хочу осиротить этот дом,
 выйти в мир и не вернуться.
 –Ложись! –
 это лупит канонадами гром.
 –Вспышка справа! –
 это молния – бах,

прямо в мачту моего корабля.
 На обветренных, солёных губах,
 застывает изумлённое:

–Бля...

То есть:

–Ёкалэмэнэ, хорошо!

После каждого вопроса:

–Тыкак? –

я глотаю неслетевший грешок,
 и фальцетю, как последний мудак:

–Лучше всех! –

и добавляю:

–А ты?..

Набежавшая волна унесёт
 и улыбки, и слова, и понты.

Я прожил, как перешёл.

Вот и всё.

Бомж и Комсомолка

О, песнь моя, звучи неодносото,
 впивайся правдой в уши и тела!
 Он был бродягой, парией, босотой,
 она же комсомолкою была,

носила лиф объёма Церетели,
 значок и безразмерное трико.
 Амур не промахнулся. В самом деле –
 как можно тут промазать в молоко?

Но он идейно блюл законы жанра,
и бляял, восхитительно бляя,
на обувь посетителей «Ашана»,
сбирая дань – за вечер два рубля.

К нему зывали Путин и Зюганов:
–Женись на ней! –
А он их посылал,
и стриг своих облёванных баранов,
и плёлся отсыпаться на вокзал.

Воистину – бывают же скотины,
с характером бетонного весла.
Сморкаясь в кумачовые сатины,
она вздымала руки и текла.

Он вшивел, сохраняя честь мундира,
и даже на могилку не пришёл.
Звени, моя рапсодия, над миром!
Мы выжили.
И это хорошо.

Покой

Тасует суета сует,
рисует и суёт
в колоду смерти мой билет
на ржавый звездолёт.
Уж скольких он перевозил
верзил-переверзил,

а я – обобранный кизил,
и, в общем-то, без сил.
И, вроде, в космос не хочу,
но чаянья врача
мельчают – чу, уже лечу,
дичаю, хохоча.
Одной ногой, одной рукой,
одной полубашкой,
лечу из койки на покой.
На кой он мне такой?

Встречаю

Хаски, взглядом купорося,
предрыкает холода.

Я встречаю осень-осень,
озираясь на мента.
С выраженьем нуирожа,
в окруженье Шевчука,
я на лавочке итожу
полбутылки коньяка.
Все по норам, все без денег,
и копыа не принесут.
Завтра будет понедельник,
с общим выносом посуд.
Двор воспрянет из отлёжки
и свершит прощальный чок.

Хаски бегают за кошкой,
как за счастьем дурачок.

Дай мне шкалик, могильщик

I

Дай мне шкалик, могильщик.
Я верну тебе два, но потом,
с развесёлым курьером,
отпившим немного – прости ему.
Городя городищи,
я оставил работы и дом,
пересев на галеру
болтанья, ведущего к Киеву.
Там, на мокром Подоле,
я оставил частичек себя –
разнополых, чумазных,
весёлых и мудрых отчасти. Я
и не знаю, доколе
вздыхать, подбородок скребя.
Дай мне шкалик, зараза,
я должен коснуться причастия.

II

Какой же ты «бедный», Йорик,
иль как тебя там,
душа августейших попоек,
всеобщий братан?
Не будем мутить, Горацио,
ляжем на дно,
не зря черепам улыбаться
вовек суждено.
Им нечем делиться, и нечем
накапливать сор,
и каждый из них человечен,

живым на позор.
Ведь даже могильщик-невежа –
Господен близнец.
Не будем грустить о себе же.
Подай огурец.

III

Третий день выскребается матка
свинцового неба,
и течёт,
и течёт,
под раскаты неведанных мук.
На размытом надгробии,
пошло,
коряво,
нелепо –
две акриловых розы.
Мой меч перекован на плуг
и ржавеет в протоптанных далях,
в степях Украины,
в отсыревших гранитах
с банальными: «...любим... скорбим...»
Я хронически там,
я застрял, не пройдя половины,
в довоенных дорогах,
собой – бесконечно живым.

Давай делить

...А он:
–Моя земля!

А я:

–Моя!

Давай делить её, как женщину.

И, вроде, уголовная статья,

а всеми кухнями завещана,

а всеми предками – от Дмитрия Донского

до Тютчева;

а там пошло-поехало:

над дверью горницы хазарская подкова.

Он про ислам,

а я про Чехова,

хотя и мог бы про Христа,

но что лукавить –

у Магомета побрутальнее афиша.

Здесь – Соловки, расколы, огнища и наледь,

а там – жена, девятилетняя Аиша

(опять статья),

и, вроде, пара миллиардов

здоровых, сильных, многодетных, белозубых.

Мой голос, выжженный звездой,

скорее, бардов,

чем муэдзинов.

Сотоварищи в тулупах

нетвёрдо топчут нашу тему диалога.

Поддержки нет.

Её не будет.

Гром не грянул.

Иду домой, состроив морду вилорога,

жую обиду, оставляя валерьяну

на сон грядущий.

Я всё чаще представляю
удар ножом,
затем контрольный с проворотом –
чужая смерть, чужой полёт к чужому раю,
в объятья гурий.
И, винил бы я кого-то,
всё было проще бы.

Облитый из ушата,
хочу напиться, а в кармане три рубля.
И я-то знаю, у кого они, деньжата.

Но он:
–Моя земля!
А я:
–Моя!

Одолели

Меня решительным нахрапом одолели
густые полчища кровавых новостей.
Грешно подумать, что на будущей неделе
я запланировал создание детей.

Теперь уж дудки, перетопчутся. Я лягу,
накроюсь парочкой любимых одеял,
засну под пенье холодильника и шнягу
про нерушимый петербургский криминал.

И будут сны. На заявлении Обамы
я повернусь и приоткроюсь от жары.
На Порошенко я укрою килограммы –
уже от холода. Затем придут бобры

с зубными щётками, но не ко мне – в Варшаву,
громить корейцев и китайцев заодно, –
на этом месте захрапеть бы не мешало,
что я и сделаю. А, впрочем, всё равно –

могу, разлаписто стенаю, потянуться.
Затем примчится дядя Вова-скрепоплёт
в шахтёрской робе, но с нашивками трезубца –
наверно, пукну (попаду ли в самолёт?).

И там, где мир накроет общая угроза
уйти в золу под очищающим огнём,
я вдруг услышу как шофёр мусоровоза
орёт на дворника.
Полпятого. Подъём.

Дорога

Так же, как люди – два глаза, два уха, и
даром, что кто-то белей,
все города одинаковы кухнями,
сворами кобелей,

бабками, давками, тряпками, девками,
топками, трубами – да,
все, как один, упираются цепкими

лапами в провода,

метят рекламами каждое дерево,
дачатся вдоль-поперёк,
плачут, судачат и моно, и стерео,
ходят в ночной ларёк.

Сколько их было – и все однорожевы.
Только послушай меня:
Думаешь, много я вынес хорошего,
по миру семеня?

Думаешь, легче пылить непривязано
вдоль по обочинам? Здесь
выбор ничтожен, а жизнь одноразова,
вырос – и вышел весь.

Думаешь, проще сорить выпендрёжами,
сгнив на последнем корню?
Я хороню приручённых и брошенных –
вою и хороню.

Так же, как люди – два глаза, два уха, и
даром, что кто-то козёл,
все города одинаковы духами
слопанных ими сёл.

Так же кивают подъёмные краницы
в спину: ни пуха, балда!
Если мечтать позволяют года ещё –
сколько их будет?
А?

Сам на сам

Себя же пьёшь:
одна...
вторая...
третья...
Махришь себя,
дерёшь за нитью нить.
Перегоняешь брагу разnobредья
в прозрачное,
а некому налить,
и не с кем разделить себя на звуки,
на столбики,
на буковки,
куря
свои же самосадные бамбуки
в бумаге из мощей календаря.

Этажи

А в каждом этаже по М и Ж.
В тринадцатом – старуха в неглиже
застыла перед зеркалом.
Под ней,
в двенадцатом, Калигулы пьяней,
безногий одноклассник.
А под ним
смывает перед сном индейский грим
девчонка лет тринадцати.
И там,
где швабра по девчоночьим пятам,

порой, гуляет, ценят тишину,
и смотрят сериальню про войну,
с победой наших.

Ниже был потоп
до пятого. А дедушка усоп
в горячей ванне – сердце.
А затем,
в четвёртом, нарисуетя гарем
твоих же –
удивляются, визжа:
зачем от них на крышу убежа...

Вот ты дура

Триста лет без монамура,
словно вечно молода.
Вот ты, Нюра, бабадура,
баба дура,
дура – да.
Хоть араба, да пора бы,
хоть румына, хоть жида.
Вот ты, Нюра, дурабаба,
дура баба,
баба – да.
Где была ты на раздаче,
с кем писала житие?
Был один –
та він не скаче,
был другой –
та він не е...
Триста лет без перекура

колесишь туда-сюда.
Вот ты дура, бабанюра,
баба Нюра
Нюра – да.

Щенок

Сифонят хляби понемногу,
и, что ни утро, вполведра
дождят на лысину Даждьбогу –
мура, хандра.
Дыра с топонимом тюпатым,
когда-то город, ныне склеп,
залёг по норам и палатам,
оглох, ослеп.
И только скачет восьминого
и лает дюжиной альтов
щенок бульдогоносорога,
семи цветов.
Он знает больше, чем нарыли
творцы наук, погон и ряс,
уйдя от матушки-гориллы
в недобрый час.

Сон

Мне снится он,
вернее – Он,
и шепчет ОН:
«а где вы были?..», –

и дальше дата.

А потом
на весь экран:
«тебя убили».

Вот так –
в ночи,
за час до солнца,
как в модном, ретровом кино.

Тут каждый в панике проснётся,
а я и помер заодно.

Хорошо

Хорошо прозеваться утром,
затянуться под чай с корицей,
и давай охеренно мудрым
становиться.
Мир такой – никакой какой-то,
словно папой рождён вчера лишь.
Вот и стадо спешит на дойку –
ты-то знаешь.
Хорошо без рогов, без пицци,
без копейки на хлеб и саван,
только пинешь себе, и пинешь –
ты красава.
Хорошо хорошить хорошесть,
молодея годов на двадцать.
Как приятно иметь возможность
отоспаться.

Добреть

Я закован в загоне закона,
я заморен за морем морали,
я запрუსь и не выйду из дома,
как бы вы на меня ни орали,
тараканы.
А стены дороже.
Я пытаюсь добреть понемножку,
и пытаю, пытаю в прихожей
колбасой безымянную кошку.

Укрощение

А простынь
то исполнит антраша
осенней паутины,
то взбрыкнёт
и вырвется, как гордая душа
тевтонца, уходящего под лёд,
то парусом надуется опять,
то скрутится в иранскую чалму.
Какая мука – на ночь укрощать
двухспальную подстилку одному.

Хлюп-хлюп

Хлюп-хлюп...
Топ-топ остался в лете,
а скрип убили дворники

песком и солью.

На Ленина,
в огромном 43-м,
ходил Юрь-Юлианыч в алкоголики,
да так и не дошёл.

Любимою мозолью
хлюп-хлюп –
который час вминаешь такт
в Большой Сибирский тракт,
на Ушакова, 64,
с приветом к Рамазановой Земфире.

А там, на третьем этаже,
другие тётеньки уже,
другие дяденьки,
и дети,
и собаки.

Хлюп-хлюп...

В такое время лишь маньяки
да наркоманы промышляют...
шляют...
шляются...

Давно исчезли Салават,
и конь,
и задница,
к великолепьям Центра обращённая.

Ещё не дома,
не в тепле,
ещё не я
хлюп-хлюпаю к открытому кафе
по утренней,
двоящейся Уфе.

Беспокойная, знойная, ранняя

Беспокойная, знойная, ранняя,
ты кряхтела без грамма заплечности,
расширяла поглубже сознание,
раздвигая пошире конечности,

разбавляла татушками фенечки
и брэнчала своё ля-минорие.
Забывая тебя помаленечку,
я рифмую грехи для истории.

А кому это надобно, барышня?
Ну, подумешь: зелено-молодо.
Ты ловила меня на опарыша,
я и клюнул – наверно, от голода.

Беспокойная, знойная, ранняя,
мы с тобой навсегда рассобачены.
Вот и стала господнею срань моя,
как и всё, что судьбой предназначено.

Изоolda Карловна

Обычно, Изоolda Карловна
кирпичила фейс прилично
и шла по субботам на Кальмана, –
но это обычно.

И вот, отобедав блинами,
воздав под вино колбасе,
она (100 кг, между нами)
воссела во всей красе
в запуканной ложе.

А там,
с цыганкой и Доном Хозе –
Бизе.

Изоolda, по батюшке Карловна,
немало за жизнь повидала, но
от этого нового зрелища
вздымался десятый размерище,
и, против заученных практик,
не пился лафит в антракте,
не думалось о борще,
и как-то ваще...

И Карловна, кстати – Изоolda,
из дома ушла (зимой-то),
оставив кошачьи польта
висеть набекрень.

Да дело не в ней,
не в Карловне –
сейчас бы сюда гитару мне,
я спел бы о главном.

А тут –
обычная хрень.

Соседи

Соседи справа кушают вино
за упокой Джордано Бруно,
за киносагу о Махно,
за хоккеистов Камеруна,
за старых дев,
за юных матерей,
за недоеденный батон –
да просто кушают,
иначе сдохнут чуть быстрее,
а это моветон.

Соседи слева делают козу
не пальцами, а лицами, когда
я вверх по лестнице ползу.
Они поют с листа,
читают Веру Полозкову,
и костерят её же,
в завалах книг
по новолуньям делят ложе,
и просто излучают креатив.
Одно не ясно мне: на кой
назвали мальчика Лукой,
при этом драться запретив.

Наверное, от скуки
мы изменяем тёплым мизансценам
и практикуем перестуки
по батареям или стенам.
И прокуроры поэтессы,
и те, до зелия охочие –

мы все уйдём из этой пьесы
вперёд кормилицами волчьими.
Нас победит и перетикает
настенный, кварцевый урод.
И как-то дико мне
пополнить вещества круговорот,
не поумнев.
Презрев холодную войну,
я завтра же пойду к соседям слева
менять позор на книжки,
и к правым перед этим загляну
для храбрости –
шалют,
шалют нервишки.

Мы ушли

Археолог ругается,
роется в наших костях,
отделяя одно от другого,
мужчину от женщины.

Мы ушли в одночасье,
под пиканье в новостях,
в православных болотах
польско-литовской Смоленщины,
между третьей Болотной
и пятым Майданом –
ушли,
не желая рожать
на пороге обещанной сказки.

Археолог швыряет лопату,
пинает угли,
достаёт сигарету,
и что-то бубнит по-арабски.

Мама-яблоня руки раскинула

Мама-яблоня руки раскинула,
тридцать три распальцованных крюка.
Нам расти – ни малейшего стимула,
оторвёмся от мамы – каюк нам.

Я молюсь пожелтевшему листику,
он один заменяет крыла мне;
и хотя бы на голову физику,
но, как водится, жопой о камни.

и уносится

как-то честно
да не часто
ужасается душа
то ли шастая мышасто
то ли шашни вороша
и уносится босая
и клокочет матюги
проклиная и бросая
оседлавшие мозги

Ты вырубаешь

Ты вырубаешь леса протянутых рук,
ты выжигашь всё на своём пути,
ты разведённый капкан, натянутый лук,
поднятый меч.

Обдувая свои культы,
я причитаю рифмами «кровь-любовь»,
я пополняю список имён-фамилий
выжженных глаз
и разбитых о стену лбов,
вроде бы умных.
Или...

За что?

Сбежавший из-под пресса «Мерседес»,
годов семидесятых,
клаксонит у подъезда до-диез,
торопит адресатов,
и дворник похмеляется бегом,
и школьникам полундра.
А я во сне родился хомячком.
За что мне это утро?

Не хватает

Как всегда, не хватает воздуха
воспевать либерти взаперти.

А «Міцне» улыбнётся досуха,
и куда за добавкой идти
в три с полтиной часа по Киеву?

Прозябая на кровных бобах,
я в себе же бродягу выявлю,
и убью его градусом – бах,
чтоб, не тыча дороги посохом,
примоскалить себя к хохлушке.

Как всегда не хватает воздуха,
я бы спел,
чтоб заглохли пушки.

Неизлечим

Любовь – злодейка, и, порой,
сплетение колец –
не прыщ, не флюс, не геморрой,
а, в общем-то, пиздец.
И вот, расплату торопя,
денёк побыв ничьим,
я строю планы на тебя –
пиздец неизлечим.

Холодильник

Ночами я грею руки в своём холодильнике.
Однажды утром меня забросят туда же –
безрукого.

По удивлённой, застывшей мимике,
составят картину ухода:
Пойман на краже
каким-то ужасным потомком царя Хаммурапи,
тут же наказан,
собственно – маслом картина.
В моём холодильнике
в каждом отсеке по бабе,
а то и по две, закомканных воедино,
чтоб уместились.
Я их не выбрасывал – нет.
Тысячи лет, как чужих, но всё же – хранил.
Менялись эпохи, народы, хвосты комет,
а я, что ни ночь, пополнял запасы чернил
за скопом наклеек,
присосок,
магнитных картинок
и жёлтых, корявых записок
себе от себя же.
Урчит мой убийца,
забабленный вкрай холодильник,
Смотрю на него,
и глажу.

Если б не Ваня

«А» – первая буква как бы
(надо же начать с чего-то) –
долгим эхом летала над шариком,
ища живых в биосфере.
Сегодня, Седьмого Раджаба,

в Священную Субботу,
в Ване,
тихом и маленьком,
разбудили зверя.

Он даже не пил, если верить
случайному очевидцу –
пролетающей мимо тарелке,
увернувшейся от напасти.

Просто, для выхода зверя
сойдёт и простая водица,
и повод,

хоть самый мелкий –
как здрасьте.

«А» только росла,
набирала свои децибелы,
а Ваня,

последний герой,
скрутил папиросу.

Шаги принимала зола,
исчадие небо,
и, кипельно-белый,
явился к Ване второй,
длинноволосый.

О чём они там говорили
в Субботу Седьмого Раджаба –
спроси что полегче, не нукай –
останется в тайне.

Он долго курил с Гавриилом,
смеялся (наверно, о бабах).

Я был бы последней буквой –
если б не Ваня.

Кислород

Перед тем, как дать мне кислород,
он рыдал над телом Мономаха,
и направил тысячи бород
с копьями на север;
и с размаху
строил долгорукие валы,
чтоб уйти в цветочные вазоны.
Хорошо, когда не по сезону
пальмами обставлены углы.

Леди, я горбат и криворот,
с мерзкими желаньями при этом.
Дайте состояться хоть поэтом
перед тем, как дать вам кислород.

Уходя

Словоблудие мудрей наития,
Это труд, не испорченный ядом
Преходящего вмиг полёта.
Столько лет меня учили не любить её,
Что я просыпался,
И щупал место рядом:
Со мной ли она – свобода?

А потом вымудрял очевидное,
За неимением слова –
Ведь как описать лунность лени
И бархат баса?

Кирпичами нагружая плиты, я
Гордился званием душелова,
А толку от этих умений
Без призвания душепаса.

А потом я уходил –
Мучительно,
Как уходят творцы паутин,
Не успев передать мастерство.
Нужен минимум в лице учителя,
Нужен максимум – хотя бы один
Ученик.
Никого. Ничего.

Славословие мудрей словохарканья
О свободе, заложенной бомбе
С механизмом без срока гарантии.
Исцели меня, время, припаркою –
Я восстану дежурным зомби
В новоизданной хрестоматии.

Баю-бай

Ты ночуешь в ногах.
Иногда заберёшься на грудь,
и давай намурлыкивать зиму,
сугробы и варежки.
Ты такой же, как был.
Не задеть бы тебя,
не спихнуть.
Баю-бай тебе,

баюшки.
И, которую ночь,
я считаю, считаю до ста.
Уходящее вмиг
никогда не придёт в одночасье.
Но однажды, представь:
просыпаюсь – а миска пуста.
Баю-бай.
Возвращайся.

На Казанском вокзале

Стаканы делали стаккато,
погода делала икоту,
мотор дотягивал на коду,
и мы шагали – брат на брата,
мой мир и я,
чтоб написали:
Блажил, и бога исповедав,
а помер, клоун, на вокзале,
без документов.

Тили

I
Тили-дин-
дин-дин,
тили-бам-
бам-бам, –
по горбинам льдин,

по зелёным лбам
обезвреженных анекдотчиков,
время капает
месивом почерков,
разнолюбий,
повадок,
походов.

Я смотрю на себя –
похож.
Оборот с логотипами «Кодак»
иссинил рукописный галдёж
пожеланий того и этого,
адресов,
отпечатков помады,
и чего-то,
тогда неспетого,
а сейчас – да кому оно надо?

Тридцать три
в пиджаках и фартуках,
тридцать три
обречённых на осень
окапронены туго-натуго
краснолентием.

Шёл бульдозер,
расчищая молчащую чащу,
выхитря голь на глаголы,
и застыл, галогены тараща
на последнюю крепость школы.
Покряхтел,

поурчал от пуза,
почесал о витрину спину,
покоптил на руины Союза,
галогены прищурил –
и двинул.

II

Если верить Шекспиру –
наш день начинался с вешалки,
с неизменного чиииза
до задних моляров.

В морозилке – пломбир.
А вошедшие в моду вешенки,
может, нашей заботой
теперь популярны.

Если верить БГ –
нас пора запретить, как растения
с канареечным кормом;
пусть так –
через двадцать и три новогодия.

Если верить ЕГЭ –
мы с тобой, несомненно, гении,
леонардовы мы отродия.

Если верить АК –
аргументов у нас негусто,
но, какого-то чёрта,
мы прожили с тобой века,
растеряв за минуту чувства,

и уходим –
с почётом.

III

Не ходи один,
тили-дин-
дин-дин,
по чужим хлебам,
тили-бам-
бам-бам,
а ходи в табун,
тили-бум-
бум-бум,
а роби горбом
тили-бом-
бом-бом.
Как не хочется, брат,
в могилу-то –
измождено,
горбато,
покинуто.

Колокольня торчит за фикусом,
за стеклом, за семью дождями,
а звонарь, дурачок, распрыгался,
за верёвочки тянет-потянет.
И ни трости в руке,
ни зеркала –
телевизор
да феназепам.
Только время, очнулось,
забегало:

тили-дин,
тили-бом,
тили-бам.

Валидоловый холод

Сон воссел на моём холодильнике,
и давай наблюдать, как эти
гиппократовы, белые циники
улыбались в намордники.

Ветер,
как собака, обнюхивал комнату,
и, под гам любопытных соседей,
вылетал –
пересудом наполнен так,
что поблёкли петиты в газете
за бронёй недожжённого ящика.

Гиппократовы линзы в оправе
излучали вердикт – настоящий, как
пошехонский мужик.

Умирующий
долгодень обрастал силуэтами.

Гиппократы, в старинной «буханке»,
освещая нутро сигаретами,
уезжали, с отказом на бланке,
закоптив валидоловый холод,

озарив глухомань до деревца.

Сон подкрался –
проглочен и вколот,
он уже не уйдёт,
не денется

ни-
ку-
да...

Я заплачу

Я заплачу за Васю –
он прекрасен
в своих побегах.
Васе тяжело –
на три постели Вася разматрасен,
а тридцать три в запасе,
щоб було.

Я заплачу за Петю –
он конкретен,
и если бьёт, то сразу на статью,
а утром, поплясав на табурете,
уходит восстанавливать ай-кью.

Я заплачу за Колю –
он приколен,
умён и бесполезен –
он поэт,

живущий на стекане и глаголе,
ушедший в энный творческий декрет.

Я заплачу за Санины касанья,
за Борины поборы.
Вопия,
топлю твои сказания в нарзане.
А кто ещё заплатит,
как не я?

Не иначе

Сон выжимает педали,
пахнет дорогой –
гарью Луганска,
киевскими круассанами,
кольским туманом,
тундрой – такой убогой,
что ощущаешь дыхание
Этого Самого.
Сон устиляет хвоею,
нагоняет комячек,
чтобы со всеми к утру
переслучить и выженить.
Мчится быстрее и быстрее
истоптанный мячик –
сон, не иначе, –
ты выжал,
и вышел,
и выжил ведь.

Зарываю

Я не рою правду – зарываю
отнятым у девушки веслом.
Крыса, до проплешин тыловая –
что я расскажу тебе о том,

как приходят цинки ниоткуда,
как с утра хоронят никого?
А потом находится Иуда,
Ванька, проиванивший родство,

и трубит долгущие тирады,
называя всех по именам.
Что мне от иудиной, но правды,
с мясом и кровищей пополам?

Мне милей надои в Уругвае,
Трамп и африканские вожди.
Я не рою правду – зарываю,
чтоб с ума однажды не сойти.

Изобретатели войны

Изобретатели войны
Не то, чтоб не носили штаны –
Они не знали, что это такое.

И шли в атаку –
По двое,
По трое.

Ведь если воин на поле один –
То он не воин, а так, кретин.
Ведь если палка в руках одна –
То это драка, не война.

Изобретатели войны
Не то, чтоб были не умны –
Они не знали, что мир не плоский.

И, мазанув на щеках полосы,
Они, сквозь горы, моря и мили,
К любимым женщинам приходили.
Те пекли им блины,
И шлёпали –
По рукам,
По спине,
По попе ли,
От неожиданного счастья плача.
И любили.
А как иначе?

Попутчики

Час до выхода светил.
Блямкают куранты.
«С Богом!», –
чёрт перекрестил
ступу Lada-Granta.
Одноразовый сервиз,
девка да бандюга.
Пол-России сверху вниз,

с севера до юга.
Скрозь озимые хлеба
ржём да выпиваем.
Что ты, если не судьба,
дура столбовая?
Прёт железный горбунок,
ищет нетверёзо
придорожный мой венок,
свитый из берёзы.

Да пребудет

Да пребудет со мною она –
и в шагах по чужим головам,
и в прыжках из чужого окна,
и в хлебах с беленой пополам,
и в позорище Судного Дня,
если грех до ушей засосёт –
да пребудет со мною хуйня,
на которую спишется всё.

Обнимая

Он вырастил дерево,
чтобы построить дом.
Он вырастил сына,
помер,
и вымахал тополем.
А сын привязал петлю
неумелым бантом,

упал
и подался в писаки,
а листья захлопали,
и дом опустел.

На этом, пожалуй, стоп.
Не надо финала,
морали,
и прочего бреда.

Я просто хочу тебя,
как дерево света,
и просто курю,
обнимая фонарный столб.

А ныне

У снега повадки досужи,
а ныне и впрямь обалдел –
полметра над уровнем лужи,
и это ещё не предел.

Я пестую план Бонапарта –
уснуть и проснуться весной,
чтоб сразу девятого марта,
с вином и спиной запасной.

Лопата берёзово стонет,
по-русски вещая капут.
Мой план не оценен, не понят.
Мой бог ночевал, да не тут.

С утра воспеваю, что вижу,
гнушаясь лопатовых дел.
У снега повадки мои же,
а ныне и впрямь обалдел.

СИЯЛО СОЛНЫШКО ЛУЧИСТО

сияло солнышко лучисто
стучала юность под рубахой
я уходил не очень быстро
но очень нахуй

теперь свечу по альманахам
лицом народного артиста
и ухожу не очень нахуй
но очень быстро

ИСКАЛ

я могилу деда искал
плакал убивая вокал
деда от меня навека
скрыла не моя сулика

жаль что огурец в кобуре
видел я её на костре
трахнутой и с дыркой в боку
эту не мою сулику

сяду на пенёк а затем
выпью закурю и заем
деда мне помашет рукой
скрученной чужой суликой

а вокруг меня благодать
все хотят врага забодать
и поют уже на горшке
славу не моей сулике

На воздух

Бегом на воздух. А куда ещё
скакать, вытаптывая грабли,
гигантоманя Маню в Манищу,
и восклицая: «фсямаябля!».

И так зашорился как Шариков,
как сетевая поэтесса,
с набором кошечек и смайликов
для привлеченья интереса.

Мой мир укладами изгадили,
а всё не так, а всё вы лжёте:
На Оболони, на Арбате ли –
езде боярышник в почёте,

и гробят Цоя недопетого,
гнусявя лажу в три абзаца,
и солнцу как-то фиолетово,
кому на зайчиков раздаться.

Тишь

Вызванивает дали виртуозно,
среди дыма и воронок долговых,
молчание руин – апофеозом
столетнего молчания живых.
И духи обживают пепелища,
библейскую, нетронутую тишь.
А я всё жду, когда ты воплотишься,
и ванну, наконец, освободишь.

Пусть

Целыми днями они заливаются смехом,
в зной и мороз босиком,
вдали от родителей.
А по ночам зажигают огни,
и сверху
весело машут,
чтоб помнили,
верили,
видели.
С ними собаки и кошки по радуге несутся.
Шум да возня –
облака разбегаются в стороны.
Глянешь наверх,
и кривишься,
и трёшь переносицу,
чтоб не чихнуть,
по носатой привычке – с повторами.
Бог управляется как-то с этой оравой;

думаю, всё-таки пряником дело решается.
Я заливаю причастием храм одноглавый –
пусть погуляет душа,
отдохнёт постоялица.
Пусть наприветит улыбок,
гостинцев,
объятий,
пусть порезвится,
а я подожду на балконе,
буду курить,
и, в рассветное зарево глядя,
знать, что разлука – не смерть.
Это всё, что я понял.

Аквариум

Дорогая, нас не секут –
берегут кислород на планете.
Память рыбы десять секунд –
сколько леса в Китай не поедет?
Нам налили в аквариум спирт,
и, какими хлебами ни пичкай,
за стеклом, улыбаясь, стоит
наша правда с зажжённой спичкой.

Далёкая

Прости меня, далёкая любовь.
Се даже не мужи, а человецы –
я врал тебе на девять коробов,

а это трижды три, не отвертеться.
И, если бы покался в пути,
безногим бы родился для начала.
Но ты меня, далёкая, прости,
как сотни лет до этого прощала.

И всё новые

Принимая мужчин как таблетки,
она не зовёт их,
не выходит ночами
на зыбкий ампирный балконец.
У такой как она не бывает случайных залётов
в незакрытые окна чужих, одиноких бессонниц.
А когда растекаются жизни и капают яды
телеправды, она по сценарию плачет, сутулясь.
И всё новые, новые мальчики будут зачаты
на красивый убой,
чтоб остаться в названиях улиц.

Родился

Забуранило континент,
завалило, и вдруг,
надо ж так:
у погоды родился мент –
серый такой, в пятнышках.
И не спишь, помогая весне
у ночей темноту скрадывать.
Мент прудит и агукает мне.

Это радует.
Правда ведь?

Ты пытаешь

Ты пытаешь меня
полноценной ясельной группой
почемучных кашененавистников.
Я седлаю коня,
и несу вдохновенно и глупо
о всесвятости фиговых листиков,
о преступном вреде
этой пёстрой, цветной, базарной
разноткани, зовущей спрятаться.
Я всегда и везде
вождедею тебя казармой
азиатских стройбатовцев.
Ты вставляешь концы зарядок
в пещерки наноуродцев,
чаёвничаешь,
и медленно
раз...
де...
ва...
ешь...
ся...
Потому ли я более краток,
чем положено землепроходцу
для запашки и сева?
Но со мною ты вряд ли бываешь вся.
Тишину леденя,

ты плывёшь на полу, на кровати ли,
не туда, не со мной.
И, когда устаёшь
почемучить ему, безответному,
ты пытаешь меня
полноценным отрядом карателей.
Разве можно
привыкнуть
к этому?

Неужели

Попугай напоследок заявит:
«Гоша хороший!», –
это лучше, чем «Попка дурак»,
и молекульно мелко.
Неужели я так же отправлюсь –
постельно и пошло,
выглупляя последнюю волю,
на радость сиделкам.
А затем из дремучего дуба
пойду на бумагу,
буду книжить,
рулонить,
газетить,
гореть углекисло,
и напишут на мне
попугайскую, вечную сагу
для таких же несчастных
искателей веры и смысла.

Это называется

Оптика нещадно запотела,
холод растекается по стали.
Это не во имя и за дело,
это называется: достали.
Напугав чердачную голубку,
я сосу копеечное бренди,
чтоб оставить первую зарубку
на моём последнем аргументе.

Тебе всё равно

Я так опасаюсь будить твоего льва,
что тупо стою футболистом перед пенальти.
Твой довод заточен на семь-шестьдесят два,
мой повод –
безумный червяк на мокром асфальте.
И пусть перебьются –
настенные «ай лав»,
бессонные грёзы,
душа с орденами мишеней –
тебе всё равно, что физически я прав,
и просто хочу
запечатать
своё
продолжение.

Слова

Слова рождаются,
враждуют,
друг друга поедом едят
до ночи:
–Ам!
–Хррррусь!

Короче –
срам,
грусть,
отягощённые зевотой.

Спааааать....

А утром глянешь:
благодать.
Пока храпел –
всё устаканилось.
Чик-чик –
для формы,
для красоты
столь нужных миру ахинеяй.
Короче, утро мудреней.

И вот идут они –
под пули, под колёса,
в чужие щели.
И вот орут семиголосо,
и нет тебе прощенья.
И не загонишь,

не запрёшь,
не выпорешь.

Когда напорешься на нож –
два хрипа лишь
оставишь Космосу:
– Ой... –
вводный.
– Бля... –
последний.
И не заменишь,
не чик-чикнешь,
ибо правда.

А мир не верит.

Впрочем, так ему и надо –
который век его ушами отобедали
слова словушные, словонные, словредные,
слова,
которые останутся словами,
убитым временем
на заспанном диване.

Душа

– Душа, твою-то наледь,
ужель забыла начисто,
куда себя педалить
в Отчизне распенатистой,
где нищие старухи

то мрут, то иеговятся,
 где пьяные мокрухи,
 с баянами на Троицу,
 где снова на Дворцовой
 наблёвано, напенено,
 и трижды три Рубцова
 на ноль и три Есенина?..

Поноешь на затравку,
 поплачешь, морду тиская –
 душа протянет лапку
 и выпросит на «Клинское».

Уходит

Русь уходит в гордые традиции
 дробно-вычитаемых поместий,
 в пьяную опричнину полиции,
 в правильные Новости и Вести.

Русь уходит блатом пришансоненным,
 девкой с караочным микрофоном.
 Ей вдогонку щерятся Воронины,
 и Сваты бегут за самогоном.

Русь уходит в вопли о себе же нах,
 в тосты за Расеюшку-маманю,
 в драки полосатых, сине-бежевых,
 в первом же незассанном фонтане.

Русь уходит ряженой процессией

в тонны разнoверного сусала,
и съедает тех, кому на пенсию,
и меня, как видишь, покусала.

Для начала

Поспешно кланяясь посуде,
неся несметности потерь,
я знаю: время нас рассудит –
поржёт и выгонит за дверь.
Тарелки бьются одичало,
хоть Дискобола вновь лепи.
Побрейте ноги для начала,
и пи...

Надувные уши

I
Сороковку нескушанной груши
зеркала на четыре множат.
Я леплю
и вдыхаю души
в разрифмованных руконожек,
а потом отпускаю с миром,
пожиная войну.

Свои же
поедают тебя –
мундирным,
без подливы и соли,

с грыжей,
с бородой,
с пулевой дырищей,
с идиотским орлом на майке,
хроморуким,
бездомным,
нищим –
пожирают свои же байки.

А хотелось другого:
вырос
человечек,
подался в люди,
без пинка залетел на клирос,
и давай возвещать,
салютить,
изгонять черноту бездуший
из грудных, благодарных клеток.

Я купил надувные уши,
примерялся и так, и эдак,
то шипел недожженным глаголом,
то предлогами гавкал.
В общем,
преуспел.
В одиночестве голом
я хотел перегафтить Кафку,
переплакать и перепечалить
мировую еврейскую скорбь.
Но у русского, у бича ведь,
как обидой себя ни горбь,
получается весело.

Полноте,
кто от града томатного умер, а?
И ушам, заключённым в комнате,
ни до драм,
ни до чувства юмора.

II
Дед Мороз перегарит «Казбеком»,
самогоном с лимонной долькой,
в общем – папой.
Он здесь набегом,
приволок самосвал, а толку –
батарейки забыл.
Он нервно
досвиданьяет, выпив и крякнув.
Полдесятого.
Спать.

Наверное,
так растят сексуальных маньяков.

А потом умирали генсеки,
словно кролики Пашки Рыжего –
он женился в кой-то веки,
да опять умотал досиживать.
От какой они мёрли заразы –
и сегодня узнать хотел бы я.
А тогда приносил им рассказы,
уповая на ухотерпие.
На четыре ворованных клетки
десять длинных ушей – ведь здорово.

Восемь...

Шесть...

Под финал пятилетки,
среди орания триколорового,
в многотыщной толпище ртищ,
не хватало хотя бы пары
этих ушек.

Оборван, нищ,
с дедморозовским перегаром,
да хоть трипперней всех бомжей,
хоть собаки цепной блохастее –
кто ты, рот, без чужих ушей?
кто ты, исповедь без причастия?

III

Это пошло.

Как это пошло.

Слушай, правда, пошлее некуда –
свинорыло копать в прошлом,
с мордой Сапиенса Человекова,
и считать.

А считаем все же:

сколько было их – чёрных, белых,
и так далее – наших женщин.

Я хотел их,

и мог,

и умел их,

и женился,

а вышло вона как:

сорок третий февраль снаружи,
душевая,

балкон,
и комната,
где торчат надувные уши.

И, казалось бы, всё, приехали,
но гантелишь пуды скрипуче,
налегаешь на мёд с орехами
(это, знаешь, на всякий случай)
и мечтаешь.

Открыл кладовку –
там пищат в нетерпении кеды.
Обещаешь и врёшь неловко:
В понедельник...
Во вторник...
В среду...
С ними проще – они не женщины,
здесь не надо мудрить небылицы.
Подсчитал, сколько им обещано?
Вот, попробуй теперь не напиться.

IV
Каждый раз,
выходя из берлоги,
подушав от сосания лапы,
монологизишь всё те же слоги,
кривоножишь всё те же этапы
от столба до рассвета.
И после
хорошишься в дыру ноутбука.
А на лбу приговором:
«взрослый»,

и, допиской, корявое:

«сссука».

Впрочем, это знакомый ужас,
сериальня, попса, хреновина.

Я хочу приручить ненужность,
чтоб любила,
стирала,
готовила,
принимала мой бред за основу,
круглый год одевалась по-летнему,
ублажала по первому зову,
подавала воды по последнему,
и конечно,
конечно,
конечно,
чтобы слушала,
слушала,
слушала.

Я пытаюсь надуть безуспешно
вечно свежие, юные уши, но,
то ли выжег глаголом печатным,
то ли выгрыз своим, человеческим.
Я куплю себе новые завтра,
а иначе и не с кем,
и некому.



Михаил Марусин стал для меня открытием. Его поэзию можно любить или не любить, но она останется поэзией. Тем, чего всегда не хватает. Для меня этот автор прежде всего воплощение честности во всём, от диалога с читателем до иронического отношения к наградам и званиям. Мне кажется, Марусин не лукавит, заявляя о нежелании получить за свои книги хотя бы копейку. Он редкий (если не единственный оставшийся) подвижник такого масштаба. Когда зашёл разговор об организации выступлений, он попросил для себя кровать и пепельницу, напрочь отказавшись от гонораров. Я думаю, в этом он весь.

Книга издана с согласия автора из открытых в Интернете источников.

Наталия Хворостова, журналист-редактор «РИА Новости».

Содержание:

Она была голодной до мужчин	3
Смотри	3
В городе Д	3
А я	4
Телега	5
От драм уже полощет	5
Рюкзак	6
Отпусти	7
Пятка России	8
Левой ногой	9
Еле	9
Вот так и	10
Вот это женщины	11
Вой-не вой	11
Пробуждение	12
Я убил	12
Верить	13
От чего опять	14
Маркиз	15
Духота	15
Голова моя-два уха	16
Афродита с цикутой	17
Клоуны	18
Драмы	18
Когда-то	19
Почему	20
«Аметист»	21
Козёл	22
Везу	22
Рэд-энд-блу	23
В дыму	24
Мудачество	25
Ностояние	26
Слушай, Космос	26
Такси	28
Постройте	28
День России	29
И останусь	30
Раздвигай	30
На твоём тра-ля-ля	31
Штормовое предупреждение	31
Агу	32
Покатай меня, большая черепаха	33
Тебя хочу	33
Гололедит	34
Венерин грот	35
Ноумани	36

Утро в Хибинах	36
Бабочки	37
Прощание	38
Так много	39
Аллергия	40
Позвольте	40
А что-то	41
Когда б	42
Мурмаши-3	43
Талант	43
Шла попадья по воду	44
Выжат	44
А он	45
Отморозки	46
Ты не стоишь	47
Трижды три королевства	47
Богиня на выданье	49
Возвращение	50
Отменили	51
Побег	52
Есть такие	52
А оно как всегда	53
И ждёт, подлец	54
ВКонтакте	55
Писающий мальчик	56
Дубрава	56
У этой бабы	57
Ёпти мати	58
И швырял	58
Лишь бы	59
В этом городе	60
Медленно и верно	61
Баба Дуня	62
Вот, несёшь	62
до-ре-ми-до	63
Я считал тебя богиней	64
Упокойся	65
Я люблю тебя, Ж	65
Тоже мне	66
Сожрал	67
Пьянка в Союзе писателей	67
Не тебя ль	68
Хороводят	69
ну подумай сама	69
Она	70
Выбирая	71
Помощник	72
Вещаешь	72
Хлебать	73

Не раздавай	74
Седок	74
Твой брат	75
У неё	76
Дураком	76
и боюсь	77
Привычки	77
однажды Рюрик и Бен Ладен	77
ВВМ	78
Псина	79
гражданка ворона	80
Люби	81
не травите бездомных йети	82
В душевой	83
Как на праздник	83
По костям	84
по частям	85
АСП	86
Мажешь	87
Увижу	87
Пророки	88
я люблю тебя	89
Гиперборея	89
У палатки	90
Мне предлагают	91
Девочки любят	91
Слон	92
Холмики	93
Витька	94
Звон	95
Выжили	97
попробуйте	99
был бы	99
Мальчик	100
Москаль	101
Маменька	111
Если верить	112
Право	113
А пока	114
На Причалке	114
перекрёсток	115
Я хочу	115
Пи-и-и-и	116
Сто третий	118
Юлька	118
Запах железа	119
Воскрешаешь	121
Коли	122
Рыщет по улицам Фани Каплан	122

Фальшивоминетчики	123
я в школьном хоре пел на бубне	124
Чего-то ради	125
Ты должен	125
Реанимация	126
Лежит пионер	127
У шамана	128
Говорящий хомяк	129
Ты идёшь	130
Мой знакомый купается в лужах	131
А София стоит	132
Наливай	133
Водопад	140
Снова	140
Давайте	141
С утра	141
КПП	143
Гутен Морген	144
Давай сегодня медленно и тихо	145
Шла весна	146
Я строю чум	147
Дед Иосиф	148
Я не знал	156
Половинка	157
человечит	158
Мальчик	158
Пятый	159
Светка	165
прилагательные	166
Облака	166
В этом городе	167
выбирал	167
Ведь как бывает	168
Город	169
Ладно	170
Где пропаханы	170
Путь	171
Я родился святым	171
Тебе ли	172
На грани	173
Что ты знаешь?	174
не думай о грустном	175
Опоздав	175
На Причалке	176
Лысина	176
Девочка Настя	177
Жить хорошо	178
Блины	180
И родим	181

Бабайка	181
И подмигивает	182
Хроника	183
Ближе к телу	184
И надо бы	185
14 км. Финской дороги	186
На рояле	186
Вавилон	187
И в путь	188
время собирать	189
Колыбельная ветра	189
заводи	189
Я боюсь	190
Товарищ полковник	191
Аве	192
Гражданка моя	192
Капитан Очевидность	194
Ковыляя	194
за каким-то	195
и отчаю	195
Минус сорок шесть	196
Уходит	197
Зацелуй	198
Готовься к добру	198
Три тела	199
Козёл гуляет с девками по саду	200
товарищ бочка	201
Он с рождения знал	201
От этих мечтаний	202
Лишь	203
Наше детство	203
Откроешь	204
Это, право, честней	204
Попробуй понять	205
От винта	206
Но пока	206
Здесь	207
А ветер	208
В преддверии	208
В размеренном параде биомасс	209
Просыпаясь в овраге	210
Пропажи	213
На поиск	214
Без тебя	216
Не будем	216
На балконе	217
Идиот	218
Отмени	218
Оглобли	219

Законы	220
Комната	221
Под рёв и крики	222
Мякиш	223
Мама поёт, веселится и пьёт «Абсолют»	224
Выхожу в ночи	225
Предынфаркт	226
Уфа	227
Никогда не ходите лесом	228
Бу	229
Твоя Уфа	229
Давай	230
Умка	230
Рассвет	238
В доме пахло любовью	239
Низзя	240
Идёшь	241
Кухня	242
Двое	242
Уходите	243
Разбирай	244
Замолви	245
Но	245
О вечности	246
Авария	247
После каждого вопроса	247
Бомж и Комсомолка	248
Покой	249
Встречаю	250
Дай мне шкалик, могильщик	251
Давай делить	252
Одолели	254
Дорога	255
Сам на сам	257
Этажи	257
Вот ты дура	258
Щенок	259
Сон	259
Хорошо	260
Добреть	261
Укрощение	261
Хлюп-хлюп	261
Беспокойная, знойная, ранняя	263
Изольда Карловна	264
Соседи	265
Мы ушли	266
Мама-яблоня руки раскинула	267
и уносится	267
Ты вырубаешь	268

За что?	268
Не хватает	268
Неизлечим	269
Холодильник	269
Если б не Ваня	270
Кислород	272
Уходя	272
Баю-бай	273
На Казанском вокзале	274
Тили	274
Валидоловый холод	278
Я заплачу	279
Не иначе	280
Зарываю	281
Изобретатели войны	281
Попутчики	282
Да пребудет	283
Обнимая	283
А ныне	284
сияло солнышко лучисто	285
искал	285
На воздух	286
Тишь	287
Пусть	287
Аквариум	288
Далёкая	288
И всё новые	289
Родился	289
Ты пытаешь	290
Неужели	291
Это называется	292
Тебе всё равно	292
Слова	293
Душа	294
Уходит	295
Для начала	296
Надувные уши	296

Михаил Марусин

Надувные уши

Сост. Наталия Хворостова

2017 г. Москва.